

Кр Р2

Б 82 2

Борис Борин

НА ВОЕННЫХ ДОРОГАХ

17 P2
682

Борис Борин

НА ВОЕННЫХ ДОРОГАХ

НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ

Магаданская областная
молодежная библиотека

86985

Магаданское
книжное
издательство
1985

84P7

Б82

Рецензент кандидат филологических наук
И. В. Осмоловская

Художник Х. Х. Карданов

Б 4702010200—026 15—85
М—149(03)—85



Магаданское книжное издательство, 1985

*Солдат, умирая, всегда знает,
что погиб*

на самой последней войне.

После него

*не стучать стрелам о панцири,
ядрам не врезаться в гренадерское каре,*

*пулеметам не выкашивать роты,
ядерному взрыву не испепелять города.*

Ведь он, солдат, погиб

не для того,

чтобы все начиналось сызнова.



*Разрывов угрюмое пламя
и вспышек мерцающий свет.
Качнется земля под ногами,
взрослея на тысячу лет.*

*И снова, и снова качнется,
лишая покоя и сна.
Вот так для меня и начнется
Отечественная война.*

Часть первая

ОТ НОВОСИЛЯ
ДО РАКШИНО

ТАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Маршевый батальон шел сквозь город к вокзалу. 32-й запасной лыжный полк — военные лагеря отправляли на фронт пополнение.

Третье февраля тысяча девятьсот сорок второго года. Неожиданная оттепель расквасила снег. И мы шлепали по рыжим лужам, разбрызгивая воду тяжелыми, насквозь мокрыми валенками. А в вещмешке у каждого лежали новенькие, еще ни разу не надеванные солдатские ботинки. Начальство, несмотря на тепло и лужи, запретило надевать ботинки: а как же — население может подумать, что солдат отправляют на фронт в холодной обуви.

Женщины — в городе к тому времени мужчин было так мало, что незаметны они на улицах — с жалостью и тоской смотрели на мальчишек, мевших лужи валенками. Глядя на наши мокрые ноги, торопливо крестились старухи.

Мы шли молча. На окрики командиров: «А ну, веселей! Песню!» — никто не обращал внимания. Мы мечтали скорее дойти до вокзала, залезть в вагоны, скинуть с ног многопудовую хлюпающую слякоть. И вот в конце улицы стала видна вокзальная башенка с часами, а за ней, справа — синие ножи рельсовых путей.

Нас выстроили. Оркестр бодро заиграл бравурные марши. С переносной трибуны ораторы стали произносить напутственные речи.

Паровоз, впряженный в красные домики теплушек, дышал сизой каменноугольной гарью. И десятки солдатских глаз, нащупав над каждой теплушкой узкое, закопченное жерло печной трубы, казалось, видели сквозь стены островки желанного тепла.

Когда кончился прощальный митинг, раздалось долгожданное: «По вагонам!» Не успел паровоз тронуть состав, как над крышами теплушек уже поднимались дымки. Солдатские ноги, обернутые запясиными суконными портянками, отходили от ледяной стылости в сухих ботинках.

Наша маршевая рота — сто шестьдесят юнцов — ехала к фронту. А в тысяча девятьсот сорок третьем, на Орловской дуге, Яшка Белов, писарь при штабе полка, рассказал мне: из тех ста шестидесяти осталось в живых нас двое — он да я. Дорога, на которой мы стояли, раздавлена танками. Яшка опасливо посматривал в безоблачное небо, за горизонтом натужно завывали «юнkersы».

Отдал я Яшке пачку немецких сигарет, — был тогда сержантом пешей полковой разведки и этого добра у меня хватало. Мы попрощались и зашагали в разные стороны. Больше я его не видел.

МОРОЗ И СОЛНЦЕ

Начало марта тысяча девятьсот сорок второго года. Нашу роту, в которой после первой же атаки осталось хорошо если одна треть, вывели на отдых — к штабу полка. Размещался он в городке Новосиль, полусожженном райцентре. К этому вре-

мении от Новосила остался только бывший пригород — десяток изб на западном берегу реки. А на высоком, восточном, чернели завьюженные, опаленные каменные коробки домов да нелепо торчала церковь. Купол в развороченных снарядам ржавых листах железа сдвинуло и заломило набекрень на слепом, без единого стекла остоле.

Мороз был градусов пятнадцать, но солнце пригревало по-весеннему. В избе непробудным сном еще спали вповалку бойцы, а я блаженно дымил махоркой, привалившись спиной к ступенькам крыльца. Пробыл я на фронте меньше месяца и потому, когда увидел старшину, даже не подумал, как сделал бы потом, — на всякий случай нырнуть в избу: мало ли что у начальства на уме...

Старшина, подойдя, так неодобрительно посмотрел на меня, что я встал и вытянулся, как положено. Он задержал взгляд на прожженных и потому не серых, а рыжих полах шинели. Я ждал «втыка», но старшина только сказал:

— Пойдешь в штаб батальона связным от роты. Пайку получишь — и иди...

Через несколько минут я шагал по дороге, вспоминая солдатскую присказку: шустрая вошка первой на гребешок попадает.

Впрочем, день был хороший, дорога укатанная, тяжесть винтовки и подсумка с патронами стала уже привычной, и я шел, бездумно глаза по сторонам.

После оттепели наст казался глазированным — так он блестел и искрился. А сине-фиолетовые тени подчеркивали каждую складку, каждый изгиб крестьянских полей, по которым прогрохотала война. И я, восемнадцатилетний, показался себе таким уязвимо смертным, несмотря на подсознательную надежду жить вопреки всему.

Два маленьких отступления. Они необходимы, чтобы читатель смог представить, как о й мальчишка ушел на войну.

Ведь только на первый взгляд все они были одинаковы. Острижены машинкой полкового парикмахера «под нуль» и одеты в новенькие, с еще неразмятыми после долгого хранения складками шинели.

Они были очень разными, эти мальчишки.

Я был единственным ребенком. Поэтому любящие родители щедро снабжали меня книгами. Про Мойдодыра, Муху-цокотуху и о том, что по проволоке дама идет, как телеграмма... Обладая хорошей памятью, я с ходу запоминал стихи. И, естественно, никакого желания изучать трудную науку чтения, чтобы узнавать уже известное, у меня не возникало.

А из книг для взрослых у нас дома был только восьмой том собрания сочинений Джека Лондона, где напечатана «Дорога», а не рассказы о Клондайке, которые еще могли бы заинтересовать мальчика. Почему так получилось, не знаю. Мама моя считала себя культурным человеком — в свое время закончила гимназию и первый курс медицинского института. У отца, правда, — только четыре класса.

А в семье наших соседей по коммунальной квартире книги были. И какие! До сих пор помню толстую книгу Гоголя в мягком шагреновом переплете, красном, с полуосыпавшимися золотыми буквами. И однотомник Пушкина, с четырьмя — как в оконной раме — картинками на странице. Эти книги читали вслух, и, конечно, извлекать меня из комнаты соседей можно было только с боем. Еще бы! Затаив дыхание, я слушал «Тараса Бульбу» или «Капитанскую дочку». «Я тебя породил — я тебя и убью!»;

«Береги платье снову, а честь смолоду!» Согласитесь, это не «Муха-цокотуха»!

С утра я уже начинал ждать вечера. А днем целыми часами — на радость родителям — просиживал молча, уставясь в пустоту глазами лунатика. В эти часы я скакал стремя о стремя с Остапом и Кукубенко, падал под ударом шпаги Швабрина... Книжных приключений не хватало для грез наяву, и добрую половину я выдумывал. Теперь догадываюсь, что, наверное, именно в эти часы запало мне в душу неистребимое семя сочинительства.

Но родителям радоваться было нечему. Близилося время поступать в школу, а читать я не умел.

Год я отучился так ничему и не научившись. Маму вызывали и доказывали, что я самый отсталый в группе (классы появились позже). Теперь понимаю, каково было ей на всех родительских собраниях выслушивать, что единственное чадо растет бесталанным и бестолковым.

Меня хотели оставить на второй год. И даже не в первой, а в «нулевой» группе (в те годы именно с «нулевой» группы начиналась средняя школа). И мама дала слово, что за лето она научит читать своего оболтуса.

Она меня знала и действовала стремительно и безошибочно. С добрыми соседями была проведена целенаправленная беседа, после чего дверь их комнаты передо мной закрылась. «Научишься читать — приходи!» Им легко говорить. Как прорваться через все эти «б-а, ба» к волшебной нити приключений? К благородному Дубровскому и обиженной Маше? (эту повесть мы как раз не дочитали).

Далее мама действовала еще более коварно. Понимая, что, лишенный ежевечернего чтения, я могу заняться голубями, расшибалкой, «казаками-разбойниками», мама подарила мне книгу.

На переплете шурился, глядя мне прямо в лицо, бородатый мужик, одетый в косматую шкуру, из-за плеча выглядывало дуло раструбом старинного мушкета, а на другом плече сидел красно-синий попугай. С ума сойти можно! Заголовок я прочел по складам: «Ро-бин-зон Кру-зо».

И я стал читать. По складам, проклиная это воспитательное мероприятие, сжигаемый желанием узнать все про чудака с попугаем. И, пока я разбирался в его судьбе, немного изменилась и моя собственная — я научился бегло читать.

Правда, радости моей многострадальной маме это принесло мало. Научившись читать, я накинулся на книги. И почему-то не на классиков — это маму, наверное, отчасти утешило бы. Я накинулся на Буссенара, Фенимора Купера, Майн Рида, Конан Дойля... А больше всего мое сердце поразили затрепанные, распадающиеся на листочки романы о Тарзане.

Учиться я не стал лучше. Педагоги по-прежнему часто вызывали маму. Правда, они уже не говорили, что я самый отсталый, а считали меня способным, но неорганизованным. Думаю, что согласиться с этим маме было легче.

МОИ ГЛАВНЫЕ КНИГИ

Книги, о которых я хочу рассказать, отнюдь не главные для человечества или нашего народа. Они главные в моей личной судьбе, они помогли мне перешагнуть грань, отделяющую отрочество от юности. И в том, что четырнадцатилетний подросток захотел стать писателем и, прожив немало лет, пережив десяток профессий, в конце концов стал им, повинны тоже они, две эти книги.

А началось все так. Сентябрь. За окнами школы костры осин и медно-желтый березняк Измайловского леса. Учитель истории казенными словами учебника что-то рассказывал о помещиках и крепостном праве. Скучно, слушать не хотелось, а уйти с урока в яркий осенний лес нельзя.

Я спросил у одноклассницы, сидевшей впереди меня, нет ли у нее чего почитать. Она порылась в портфеле и, выждав пока учитель перевел взгляд на другую половину класса, передала через плечо книжку.

Фамилия автора мне тогда ничего не говорила — какой-то Илья Эренбург. Название тоже — «День второй». Однако, начав читать, я уже не мог оторваться. Теперь я понимаю, почему так произошло.

Рос я обычным мальчишкой. Каждый вечер — каток. По воскресеньям — лыжные походы, благо Измайловский лес рядом. Учился на «тройки» и «четверки», много времени у меня школа не отнимала. Читал то, что попадалось под руку. И считал, что все интересное уже прочел. Но Майн Рид и Гоголь писали не про меня. Конечно, мне нравились и «Всадник без головы», и «Тарас Бульба». Но все это было так далеко от моей жизни, словно писатели жили на другой планете. И вдруг оказывается, что есть книги про нас, следовательно, про меня.

Напоминаю, что было мне четырнадцать лет, жил я в стране, которую считал и считаю замечательной, и значит герой повести Колька Ржанов не мог мне не понравиться, не стать моим «вторым я».

Читая повесть, убедился, что я — абсолютный невежа. Встретил в книге десяток имен, о которых не имел ни малейшего представления. Выписал эти имена, пометил на полях тетрадки: «Обязательно прочесть». И помню до сих пор страницу — хорошая

глянцевая бумага в клеточку. «Блок, Пастернак, Анатолий Франс», — написано там еще детским почерком. Я переписывал и те книги, которые Володя Сафонов брал в библиотеке: Чаадаев, Дидерот, Кальдерон, Тютчев, Хомяков, Гейне, Паскаль, Соловьев, Анненский, Бодлер, дневники Талейрана, словарь Даля, Библия...

Это был для меня путеводитель по культуре человечества. И записав родителей в три библиотеки, я заметался по городу, меняя наспех прочитанные книги.

Догнать Володю Сафопова было не просто. Я брал Блока — и тут же возникали Брюсов, Бальмонт, Белый... Начиная читать Пастернака — и находил ссылки о Хлебникове, Асееве, Каменском, Крученых, Бурлюке, Шкловском. О Маяковском уже и говорить не приходится.

Лыжи я забросил, на катке появлялся изредка, учился теперь с «двойки» на «тройку». Время уходило на чтение.

Окунувшись совершенно неожиданно для себя в океан поэзии, я, разумеется, захотел писать. Но как это делается? Что для этого надо? Ни о каких литобъединениях я тогда не слышал...

Однажды парень, который учился в десятом классе и потому мной уважаемый, спросил:

— **Есенина почитать хочешь?**

Я обомлел. Есенин был в то время не в почете. В библиотеках его стихов не выдавали. Книга, видно, побывала в огне — корешок обгорел. Но титульный лист первого тома с портретом молодого человека сохранился.

Есенина я прочел залпом. И тут же, ни о чем больше не раздумывая, начал писать, не умея еще отличить ямба от хорея, ассонанс от точной рифмы. Я писал стихи так, как, наверное, ребенок учится

ходить, — наощупь, ударяясь об острые углы, постигая на практике, что нельзя и что можно.

Не в силах расстаться с книжкой стихов, к которым я относился, как верующий к Евангелию, я переписал весь первый том Есенина.

До войны у меня было много времени. Я успел изучить технику стихосложения, успел исписать несколько толстых тетрадей стихами, рабски подражая и Есенину, и Блоку. И даже Надсону.

На войне я стихов не писал. А после фронта просиживал ночи над белым листом, потом уничтожал написанное — стихи долго и упрямо не хотели говорить моим голосом. Сельвинский и Алигер, Симонов и Багрицкий, Светлов и Луговской незаметно, но властно водили моим неумелым пером. Как выйти на свою дорогу?

А дорога моя начиналась в траншеях полного профиля под городом Новосиль и шла, обрываясь в госпиталях, через Белоруссию и Польшу.

ВАМ СВЯЗИСТЫ НУЖНЫ!

Трудно зимой пехоте. А если в роте полтораста городских мальчишек и командиры только из училища — совсем хоть плачь. Ни построить землянку — без кирки и лома скованную морозом землю не продолбишь, малой саперной лопаткой хорошо окапываться летом, — ни раздобыть, ни самим сделать железную печку... Многие из нас, я например, до войны не умели даже наматывать портянки. Вырыли мы в снегу траншеи и две недели клацали в них зубами. Зима была лютая.

Первая атака. Кровавый свет красных ракет. Крики командиров: «Встать! В атаку! Вперед!» Струи свистящих светляков навстречу — трассирующие пули, мины с такой злостью взвизгивают, раз-

рылся в снегу, что аж зубы ломит. И падают, падают, падают товарищи...

От роты осталось хорошо если треть. Нас отвели на отдых.

Изба без стекол, дверей и крыши. Но даже промерзшие бревна греют лучше, чем снежные стены траншей. А главное — цела закопченная русская печь. Охапка соломы, которую в нее натуго вбивают, несколько минут чернеет, окутываясь белым дымом. Потом вся враз вспыхивает золотым пламенем и, догорая, угольно краснеет. А от печки пышет такой желанным теплом, что жмутся люди к пылающему чреву, морщат обмороженные щеки в счастливых улыбках.

Изба эта недалеко от штаба полка, и к нам, понятное дело, зашел дежурный. Никто не обратил внимания на подтянутого, явно кадрового командира, на красную повязку на его рукаве. Впервые за две недели мы грелись, мы только-только вышли из боя — и пропади все пропадом. А вспыхнувшая в печке солома вдруг ярко высветила три красных кубаря и эмблему связиста в петлицах шинели.

Он постоял на пороге, помолчал. И уже поднял руку, чтобы отбросить плащ-палатку, которой мы завесили дверной проем, и уйти. И тогда я — до сих пор не знаю почему, никаких планов и надежд у меня не было — лениво, не вставая с пола, спросил:

— Товарищ старший лейтенант, вам связисты нужны?

— А ты кем был в гражданской?

И в этот момент вспыхнула надежда. Я вскочил, вытянулся, отрапортовал:

— Электромонтером.

Электромонтером я, разумеется, никогда не был.

— Фамилия?..

...А через два дня меня вызвали в штаб полка

и направили «для прохождения дальнейшей службы» в роту связи, которой командовал старший лейтенант Ворошилин.

Переступил порог избы и радостно, всем прозябшим телом почувствовал устойчивое тепло хорошо протопленного помещения. И только потом obeжал глазами — мать честная! — целые стекла в оконных рамах, нары, аккуратно застеленные плащ-палатками, полевые телефонные аппараты и катушки с проводом на самодельных полках... А за столом в одной гимнастерке — снежно белеет полоска подворотничка, — чернявый старшина.

— Прибыл для... — начал я, но старшина махнул рукой: — Знаю! — задержал взгляд на моей двухнедельной щетине (сам был свежесбрит и даже пахло от него тройным одеколоном), на прожженных полах шинели — пехота! — сказал:

— В сенях солома, постели себе у печки. Выспишься — поговорим.

Уговаривать меня не пришлось. Стянул тяжелые валенки, которых еще ни разу не сушил — негде, сунул их на печь, укрылся влажной шинелью и провалился в блаженную темноту сна.

А старшина Вартанян командовал взводом линейных телефонистов. Ему и предстояло из парня, попавшего в армию всего два месяца назад и ошалевшего от густоты и жестокости впечатлений, от тяжести военной службы, сделать солдата.

ПРОВАЛЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Спал я почти сутки. Потом, подталкиваемый взглядами и окриками Вартаняна, еще день приводил себя в порядок. Брился, мылся в полковой бане,

прожаривал белье и обмундирование, уничтожая **вещи**. Чистил и смазывал винтовку — Вартанян **приказал**: «Чтоб блестяла!» — ржавую, длинную, **песу**люжую, еще с граненым казенником, образца **тысяча** восемьсот девяносто первого дробь тридцатого года, похожую больше на древнюю пищаль, **чем** на современное оружие. Такие винтовки солдаты **называли** презрительно — дудорга.

Наконец, изведя на дудоргу неимоверное количество пакли и веретенного масла, доложил, что все, **мод**, в порядке. Старшина вынул затвор из моей винтовки, пощурился в ствол и неодобрительно **хмыкнул**. Он поставил на стол полевой телефон — **деревянный** ящичек, крашенный зеленой масляной краской, — откинул крышку.

Этого я со страхом ждал. Что я никакой не **монтер** должно было выясниться с первых же минут. **И пока** я мылся, пока драил свою проклятую дудоргу, **мозги** напрасно напрягались, чтобы хоть что-то вспомнить из школьного учебника физики. В голове **уныло** вертелись почему-то «анод» и «катод». Что они обозначают — черт их знает. В конце концов **решил**: выгонят и ладно, все же я выпался в тепле и помылся... Потому я довольно смело подошел к столу и, **ткнув** пальцем в какую-то гаечку, **сиплым** голосом **выдавил** это непонятное слово: «анод...»

И старшина сразу же, по-южному легко, **взорвался**:

— **Что анод? Какой** здесь, понимаешь, анод? Ты же говоришь — **монтер** был, — что это? — и теперь Вартанян **ткнул** пальцем в гайку.

— **Катод**, — произнес я второе волшебное слово. Я не хотел злить старшину, напротив — хотел ему понравиться. Но стоял дурак дураком, пот заливал глаза, от щек можно было прикуривать.

Хоть бы скорей выгнали, думал я. Но старшина

Магаданская областная
молодежная библиотека

86985

продолжал спрашивать громкой, горячей скороговоркой:

— Ты понимаешь, что говоришь? Анод, катод... Ты что, понимаешь, из себя строишь? Что это такое? — и он опять ткнул пальцем в гайку. — Отвечай, понимаешь...

— Гайка, — твердо и зло сказал я. Теперь все, теперь старшина скажет: собирай шмутки и топай назад в пехоту. Но Вартанян неожиданно успокоился.

— Клемма для подсоединения провода. Понял? — я поспешно кивнул головой. — А рядом — вторая клемма для заземления аппарата. — Он несколько минут смотрел на меня, что-то решая. — Закуривай, буду тебя учить, как собаку, с голоса.

На собаку я и не подумал обижаться. Наоборот — обрадовался, что останусь в связи. А в избу заглянуло щедрое мартовское солнце, качая в луче два синих махорочных столба.

Учиться с голоса было нетрудно. Полевой телефон, как только я бросил разбираться, почему он работает, а постарался понять, как он работает, оказался предельно простым. В одной клемме — такой винт с гаечкой — зажимается конец провода, в другой — проволока с железячкой, которая втыкается в землю. А земля должна быть всегда влажной. И все.

— Надо поливать водой, — учил старшина. — А нет воды — помочишься на это самое заземление. И порядок. А как прокладывать связь и ремонтировать линию — я тебе на практике покажу.

Потом мы пили кипяток. Вартанян макал хлеб в сахарный песок. А я съел свою пайку еще утром. Есть, конечно, хотелось. Но это ерунда, к постоян-

тому чувству голода я уже привык. Главное, не смотря на проваленный экзамен, я буду служить в роте связи, сидеть в теплой избе, и вся моя обязанность: «Товарищ Первый, вас вызывают... Поговорили? Отбой...»

Что это такое — линейный телефонист, я тогда даже не догадывался.

ЛИНЕЙНЫЙ ТЕЛЕФОНИСТ

Полк — три батальона, а в каждом по три стрелковые роты. И везде свои КП — командные пункты, где возле телефонных аппаратов — солдаты роты связи. Наше дело проложить связь, круглосуточно дежурить у телефона, а в случае порыва, когда осколок или колесо телеги оборвет провод, бежать по нитке, срочно найти порыв и восстановить связь.

Перед тем как послать меня на дежурство, Вартамян настойчиво вбивал в голову солдата-недотепы, что входит в круг его обязанностей. Перематывая провода с катушки на катушку, он проверял соединения, заново вязал узлы, обматывал оголенный провод изоляционной лентой. Антрацитовые глаза его маслянисто чернели, руки работали изящно и бережно, словно в них шелковая нитка, а не стальной провод. Казалось, все это делать легче легкого, только у меня почему-то железные жилы провода плохо гнулись, никак не желали завязываться, а острые концы все время норовили вонзиться в палец.

— Не так, — горестно выдыхал старшина, — провод на узле должен быть крепче целого... Не халтурь, понимаешь, а то под огнем наплачешься...

Я тогда плохо понимал, почему наплачусь, но старался. За три дня мы перемотали весь запас про-

водов. Я разодрал в кровь руки, но вязать узлы все-таки научился.

И вот вечером, когда я, напившись пустого кипятка, который обманчиво заглушал голод, собирался завалиться на нары, Вартамян сказал:

— Бери мешок и винтовку. Будешь дежурить поначалу в штабе полка.

Наш пост № 1 в штабе полка был, как я потом понял, самый легкий. Это и понятно: передовую обстреливают гораздо сильнее, и телефонисту придется бегать в поисках порыва гораздо чаще...

Зачем я все это пишу? Сорок лет, как сорок тяжелых большегрузных составов, прошло, прогромыхало после победного 9 Мая. Военный быт описан, проштудирован, закреплён в десятках книг — повестях, романах, мемуарах... Не стоило и браться за перо, чтобы добавить еще одно повествование. Я протягиваю руку и трогаю плечо Вартамяна, который никогда не вернется в свою Армению. Я должен рассказать о нем. Об его черных, то улыбочивых, то яростных глазах, о торопливой, горячей скороговорке, о нем — быстром, даже стремительном, беспощадном и в общем-то добром. Кроме меня о Вартамяне никто не расскажет.

Я помню, нагрузив на мои плечи трофейную катушку провода и взвалив на себя такую же, старшина прокладывает связь.

Иду я впереди, катушка за моей спиной поскрипывает, взвизгивает — разматывается, и груз постепенно становится легче. От пота промокли насквозь и гимнастерка, и штаны. Мне уже на все наплевать, и я пытаюсь лезть напролом по прямой, по кратчайшему пути. А Вартамян, катушка на его спине так же тяжела, как и в минуту выхода, направляет меня:

— Бери правей — там овраг, провод под огнем

там целей будет. Ну, куда ты, понимаешь, на бугор **полез?** Ты соображаешь, что на этом бугре будет, **когда** фрицы огонь откроют? Ни тебя, ни провода, понимаешь...

Потом, когда мой провод размотался и кончился, **Вартанян** присоединил кабель со своей, полной, катушки и пошел, нет — побежал, да так, что я едва поспевал за ним. А он хитроумно использует овражки, канавы, ямки, укладывая в них нитку связи.

Насколько это важно, я понял, когда ползал, ища порыв. На буграх, где я когда-то норовил проложить связь, трава скошена под корень пулеметными очередями, минометные воронки достают краями друг друга. А по ложбинам и канавкам еще мыслимо проскользнуть.

Помню, как первый раз выскочил из окопа, такого надежного и спокойного, и, пригибаясь, побежал, обжигая ладонь корявым проводом. Связи нет. Где порыв — непонятно.

Я почти наткнулся на непроходимую, как мне тогда казалось, огненную стенку. Пули рвали землю у самых рук. И я лежал, цепenea от страха и отчаяния: идти вперед не мог, что меня ждало сзади, если бы вернулся, не наладив связь, даже не хотелось думать.

И вдруг, стремительный и горячий, перемазанный грязью, бешено блестя глазами, — **Вартанян**.

— Лежишь? — закричал он. — Страшно? А тем, кто в атаку, не страшно?

Он нырнул в непроходимую стену огня и минут через десять приполз обратно.

Когда мы вернулись на КП батальона, связь работала, по проводу шли команды. На нас никто не обратил внимания. А **Вартанян** сказал:

— Убьют тебя или не убьют немцы — это как повезет. А чтобы свои расстреляли, понимаешь, позор.

К матери и отцу, понимаешь, придет известие, что их сын погиб как трус и подлец. Когда страшно, помни про это...

Я запомнил. И мне повезло пройти через непроходимые стены огня. А старшине Вартаняну, первому моему комвзвода, который сделал меня солдатом, не повезло. И через сорок лет после войны нет у меня волшебной палочки, чтобы хоть на час, хоть на миг воскресить старшину. Чтобы он сказал, как прежде, блестя белыми зубами и черными масляными глазами:

— Быстро нашел порыв. Молодец, понимаешь...

НЕ ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Пишут об этом почему-то мало — мне во всяком случае не приходилось читать, — какой была армия к марту—апрелю сорок второго года. Не претендую на обобщения, я только о том, что видел сам.

Наш полк держал оборону по берегу реки Зуша. В стрелковых ротах по тридцать пять—сорок человек. Три пулемета «максим» — по пулемету на батальон, ни одного миномета, из всей полковой артиллерии осталась 76-миллиметровая пушка, короткоствольная и тупорылая, образца тысяча девятьсот двадцать седьмого года.

Не лучше было и с личным оружием. У солдат — допотопные винтовки, дудорги и гранаты РГД, от которых больше грохота и копоты, чем толку. И лишь разведчики гордо щеголяли трофейными шмайссерами.

Ни лома, ни кирки, ни нормальной лопаты — только малые саперные, промерзшую землю не угрызешь. И ютилась пехота в траншеях, вырытых в глубоком снегу. Немцы не жалели мин и снарядов,

«мессеры» задевали чуть ли не головы бойцов. А у нас патроны считали поштучно, и при единственной пушке был неприкосновенный запас — пятнадцать снарядов. Понятное дело, мы старались «его не злить», ночью над немецкой передовой качались осветительные ракеты, трассирующие сплошным потоком резали снег наших брустверов. А мы молчали. Раз-два за ночь огрызнется короткой, в три-четыре патрона, очередью «максим». И одна надежда — фрицу морду набили, авось опять не полезет...

И немец не лез. Очевидно, сил у него тоже не было. Так мы и стояли друг против друга по берегам замерзшей, в общем-то неширокой реки.

Особенно трудно было с харчами. Утром старшина привозил хлеб — по шестьсот—семьсот граммов на человека, по сто граммов водки, табак, сахар.

И все. Кухни не работали — варить было нечего. Съешь утром пайку и — до следующего утра. У многих солдат началась куриная слепота.

Голодный, малочисленный, прозябший до костей, стоял в обороне полк.

Послали меня как-то ночью с донесением к командиру полка. Он жил в небольшой избенке, рядом со штабом. Грохоча обмерзшими валенками, задев дверную притолоку винтовочным стволом, я ввалился в первую комнату, маленькую, с большой русской печью.

Со скамейки вскинулся сонный ординарец, зашипев на меня: «Тише». Взял пакет, ушел, скрипнув дверью. А я медленно отходил в тепле и не мог отвести глаз от печки: на пригрубке стоял солдатский котелок, а в нем белела каша — пшенная. Я шагнул к печке осторожно и медленно, как лунатик. Взял котелок за дужку, вытеснился с ним из избы. И обо-

гнув первый же угол, поставил котелок на снежную завалинку, достал из-за голенища ложку и...

Никогда и никому про это не рассказывал — не хвастаться же, что украл кашу у командира полка. А сейчас пишу: война это ведь и голодный мальчишка с котелком ворованной каши. Пшенной. Вкус которой я помню до сих пор.

Первое мая сорок второго года. В полк пришло сто сорок новеньких ППШ. И при штабе появился ударный кулак — рота автоматчиков. И шесть 120-миллиметровых минометов — батарея тоже была организована в полку первого мая. А старшина выдал нам по двести пятьдесят граммов сала и по триста колбасы, полукопченой, с забытым названием «краковская».

И кухни начали в мае раздавать раз в день по полчерпака горячей воды плюс вареное в этой воде мясо — по кусочку со спичечный коробок. И каждая рота получила по шесть лопат, по кирке и лому. Нужно было зарываться в землю.

Для того чтобы воевать, надо жить.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Мы не понравились друг другу сразу. Юркий, суетливый сержант, которого прислали после гибели Вартаняна, был, словно в пику нам, маленьким, рыжим, осыпанным мелким просом веснушек. Нос вздернутый, кнопкой и узенькие глазки.

Перед начальством он тянулся в струну, визгливо орал на нас, кидался со всех ног выполнять любое, даже пустячное приказание. Без начальства любил долго спать, а когда прокладывали связь, наваливал на солдата две-три катушки с проводом и шел рядом — руководил. Сказать просто, что

я невзлюбил сержанта Колесниченко, значит ничего не сказать. Сержант платил мне тем же.

А у меня за спиной было уже лето в роте связи. **Я** успел передержурить во всех батальонах и почти во всех ротах. Знал, где и как проложены нитки провода. Научился быстро находить порывы. Короче, стал опытным фронтовиком и тыкать носом, что **я** чего-то не умею и не знаю, было уже нельзя. Сержант досаждал тучей мелких придирок.

Я, к примеру, не любил чистить винтовку. Раковины в канале ствола появились задолго до того, как она ко мне попала. Сделав несколько выстрелов, можно было их прикрыть пороховой гарью, что **я** обычно и делал. Командиров стрелковых рот, у которых дежурил с телефонным аппаратом, винтовка моя не интересовала, им нужна была связь.

Колесниченко появлялся на моем посту — к осени вся передовая была прорезана и опоясана коридорами траншей, ходить по ним стало совершенно безопасно — и первым делом брал стоящую в углу окопа винтовку. Вынимал затвор и, долго сожалеюще причмокивая губами, смотрел в ствол.

Я знал, что он скажет. И он говорил, обращаясь даже не ко мне, а к кому-нибудь из пехотных командиров:

— До чего довел оружие — ужас! — и приказывал: — **Вычистить!**

Я обреченно вздыхал, вывинчивал из винтовки шомпол и обматывал протирку паклей.

Колесниченко прекрасно знал, что вычистить мою винтовку как следует невозможно. Но сидел рядом, курил, поглядывая на меня злорадно-начальственно маленькими глазками.

Дав мне часа полтора повозиться, он переходил к следующему номеру своей обычной программы.

— Почему нет подворотничка? Разве таким дол-

жен быть внешний вид красноармейца? Мне за вас стыдно...

Я молчал. Белых тряпок у меня не было, а индивидуальный пакет я берег. И только винтовка тяжелела в руках от почти непреодолимой потребности — стукнуть по начальственной башке сержанта.

Посидев часа три, передохнув, доведя меня до того состояния, что можно уже без видимого повода сорваться, сержант уходил на другой пост.

А когда мы обменивались впечатлениями об его визитах, казалось, провода перегревались и шипели от бессильной ярости. Но... приказ начальника — закон для подчиненного, как гласит Устав дисциплинарной службы. И в армии приказы не обсуждаются, а беспрекословно выполняются, — доказывает тот же Устав. Понятно — без дисциплины нет армии, а что на командную должность может попасть злой дурак, уставами не предусмотрено.

Меня трясло от одного вида сержанта. А выхода я не видел. Помог случай.

Колесниченко побаивался навещать своих телефонистов на ПНП — передовом наблюдательном пункте нашей разведки. От боевого охранения пехоты вперед, к немцам, уходил перекрытый сверху жердями и замаскированный дерном узкий ход сообщения. А там, от зловещей ленты реки метрах в пятидесяти, глубоко зарытый в землю блиндаж и ПНП с тремя амбразурами. Стереотруба, пулемет, каски, в которые, как картошка, насыпаны гранаты, да не пресловутые РГД, а новые Ф-1, «феньки», как называли в эту войну лимонки Гражданской. Ну, и пять-шесть дежурных разведчиков, обычно группа, которая вскоре пойдет в ночной поиск на захват «языка».

Смотрел я на разведчиков с восторгом и обожанием. Все, начиная с одежды,—летом на них **пятиштыные**, с пришитыми хвостиками из мочала, **маскировочные** костюмы, зимой — белоснежные **маскалматы**,— и до оружия: шмайссеры (скорострельные, коротенькие, удобные), ножи, наши **штурмовые**, или немецкие кинжалы, почти у каждого **трофейный** пистолет, вальтер или парабеллум,— было у них прекрасно.

Я с радостью шел дежурить на ПНП. Во-первых, **барьер** страха надежно отгораживал от Колесниченко, во-вторых, само общение с такими асами, как Толя Малютин, с которым уважительно здоровался за руку сам командир полка... Попасть в разведку я даже не мечтал, как в нынешний век вряд ли кто из юношей серьезно надеется стать космонавтом. Помог, как я уже писал, случай.

Разведчики были от меня и других телефонистов наслышаны о Колесниченко. И однажды, послушав, как я мечтаю попасть в госпиталь только бы избавиться от сержанта, Малютин предложил:

— Да уходи ты от него.— И на мой немой вопрос: — Как, куда?— К нам во взвод.

Я ждал продолжения, чувствовал — глаза у меня горят, как факелы.

А Толя Малютин усмехнулся, продолжая:

— Во взводе потери. Люди нужны. Согласен?

Я торопливо закивал, боясь, что Малютин передумает.

Не знаю — как и чем он убедил капитана Рывкина, командира взвода полковой разведки. При мне Рывкин только сказал Малютину:

— Под твою ответственность. Пойдешь в поиск — испытай. Отчислить обратно всегда можно.

Обратно к Колесниченко? Нет, уж лучше погибнуть в этом поиске...

А Малютин, покровительственно улыбаясь, хлопнул меня по плечу:

— Завтра пойдешь за харчами в хозяйство, отдай старшине свою дудоргу, пусть немецкий автомат выдаст, есть у него мой, запасной. Да пускай финку даст — скоро к фрицам в гости пойдем...

ВЗВОД ПЕШЕЙ РАЗВЕДКИ

На стихотворение наталкиваешься неожиданно, и, прокрутившись в тебе несчетное количество раз, оно как-то само ложится на бумагу. Прозу, очевидно, надо писать по-другому, работать над композицией, сюжетом... А я просто вызываю людей из прошлого, часто из небытия. Да я и не вызываю — неудачное слово, они приходят сами. Я сижу за одним столом с Вартаняном, моя ладонь на его теплой волосатой руке. Слышу его голос, напористый, с кавказским акцентом, с вечной присказкой: «понимаешь». А он погиб еще в сорок втором.

Я вижу ребят из взвода разведки. Не всех, конечно, а самых мне близких. И прошу прощения у других, которых я хуже запомнил и потому не могу их воскресить даже на секунду, даже мысленно. Низкий поклон вам всем от людей сегодняшнего дня, которые вас не знают, но которые благополучно живут, стоят в очередях и не представляют, как сдают документы и ползут под пулями к немецкой траншее...

Старшина взвода разведки Цветков, мужик лет тридцати, быстроглазый, с черными усиками над пухлыми губами бабьего любимца, налил в котел-

ки — трофейные, с плотно закрывающимися крышками — супу, выложил на стол три буханки хлеба, **посет** с сахарным песком, флягу с водкой и кивнул **на пары**:

— Забирай, твое...

На плащ-палатке лежали жирный от пушсала **шмайссер** и штурмовой нож — в просторечии **финка**, в черных деревянных ножнах.

Потом оглядел меня с ног до головы, бросил **рядом** с оружием добротный новенький немецкий ремень.

— Смени свое брезентовое дерьмо.

А пока я сопел, цепляя флягу и нож на новый пояс и протирая паклей чересчур жирный автомат, **Цветков** совсем расщедрился.

— Ты что, и в поиск пойдешь в двухметровых голенищах? — старшина так пренебрежительно отозвался об обмотках. — Моли за меня бога, что я такой добрый...

Цветков выудил из какого-то огромного мешка старые чиненые кирзачи. Потом, когда я переобулся, снова оглядел и вздохнул:

— На разведчика все равно не похож, лихости в тебе нет!

Это с автоматом и ножом-то не похож? Да я под собой ног не чуял от гордости!

Потом я узнал о порядках, которые, стараниями **Цветкова**, были во взводе. Хлеб и махорка не делились — они всегда лежали в блиндаже. Ешь и кури, если хочешь. Уходя в поиск и приходя из поиска, каждый получал по сто граммов водки. Ну, и само собой, вернувшихся ждала всегда каша, щедро заправленная тушенкой.

Держать взвод на таком безразмерном пайке старшине удавалось потому, что умел он дружить с пэфээсниками — людьми из отдела продовольст-

венно-фуражного снабжения. Он аккуратно забирал после поиска дамские пистолетики, на которые немцы были великие мастера, часы, одеколон, короче все, что так ценят люди, живущие спокойно, почти тыловой жизнью. А мы расставались с фронтовой бижутерией легко: во-первых, знали куда она идет, во-вторых, часы и пистолеты были у каждого. Имни «махались не глядя» и даже проигрывали в карты.

Цветков всегда приходил провожать группу в поиск, ему сдавали документы. И награды, у кого они были. Ведь тогда награждали мало и скупое, у нас во взводе ордена были только у капитана Рывкина и старшего сержанта Малютина.

ПЕРВЫЙ ПОИСК

Мне всегда везло на хороших людей. Можно сказать, что тепло их благожелательности не позволяло окоченеть на ледяных житейских ветрах. Толя Малютин, после капитана Рывкина второй человек во взводе разведки, с первых дней взял меня под свою королевскую руку.

Большой, почти двухметрового роста. На гимнастерке две — еще на пунцовых ленточках — медали «За отвагу» и орден Красного Знамени. На всегда горящие черным блеском хромовые сапоги приспущены широкие маскировочные шаровары. Обычное его положение — лежа, казалось, он проводит всю жизнь только переворачиваясь с живота на спину.

Малютин преображался, когда шел в разведку. Ловкий и сильный, как огромная кошка, он крался по нейтральной полосе, уверенно входил во вражескую траншею и, прежде чем немец догадывался,

кто перед ним, оглушенный и скрученный враг уже **скал** в наш штаб на малютинской спине.

Меня Малютин воспитывал немногословно **в лениво**:

— Главное оружие разведчика — нож. Стреляют и бросают гранаты в немецкой траншее без **двух** минут покойники.

Он вставал, нехотя, с трудом, и показывал, **мгновенно** преображаясь в ловкого зверя, как надо **работать** ножом.

Прошло много лет. Я был корреспондентом газеты «Лесная промышленность». Рассказал как-то журналистам о неотразимом малютинском ударе. Один из них, молодой парень, самбист, стал уверять, что уж его, знающего приемы обороны, я **ножом** не достану. А когда ребята усомнились, **открыл** складной нож, вручил мне и предложил: «**Попробуем**».

Парень говорил так уверенно, что я было встал против него, но в последний момент спохватился, — чем черт не шутит, положил нож на стул и взял обычную канцелярскую линейку.

Автоматически, наверное, теперь уж навеки **отработанным** жестом, я сделал обманное движение **и, обойдя** рванувшиеся навстречу руки, ударил, **слава богу**, — линейкой...

Малютин и Рывкин высмотрели на том берегу **Зуши** новое пулеметное гнездо. Решили брать «языка». Старший сержант кивнул мне утром: «Пойдешь со мной...»

Весь день я не мог найти себе места. Что перед поиском нельзя писать писем — плохая примета,

я знал. А то бы наверняка сочинил что-нибудь патетически-слезливое, насмерть перепугав мать.

Перед выходом Малютин оглядел меня.

— Запасные магазины от шмайссера здесь оставь — не сгодятся. «Феньки» положи в карманы ватника — с пояса, будешь ползти, растеряешь...

Он помог мне облачиться в белый маскировочный костюм, заткнул на ушанке шнуры капюшона.

— Помни: твое дело охранять меня со спины. Ползешь за мной. У немца в траншее гляди, чтоб никто не подошел сзади. Оружие твое — нож. Помни.

Сам старший сержант не взял с собой ни автомата, ни гранат — нож на поясе и вальтер за пазухой.

Цветков и Рывкин провожали нас в поиск. Капитан посмотрел на меня как-то неодобрительно, сомневаясь, и негромко сказал:

— Слушаться Малютина как бога.

А Цветков, принимая из моих вздрагивающих рук солдатскую книжку, комсомольский билет и тоненькую пачку материнских писем, ободряюще подмигнул круглым глазом: мол, все будет в сохранности, возвращайся, салага...

И мы — пятеро разведчиков и два сапера — ползли на бруствер. Сначала было не страшно. Саперы раздвинули рогатки наших проволочных заграждений, и мы нырнули в густой туман, недвижно стоявший над рекой. Из обмерзшего тальника вытащили лодку, влезли в нее (я зачерпнул воды в левый сапог) и беззвучно двинулись. Где-то над туманом вспыхивали и светились, как тусклые матовые лампы, немецкие ракеты. Потом лодка, вздрогнув, встретилась с берегом. Мы поднялись на изволок, и туман обрезало как ножом.

Вот она, немецкая траншея, — черная линия на

снегу, в ней время от времени красной пульсирующей бабочкой бьется пулеметный огонь, и свистящие светляки, проплывая над головами, вонзаются в туман. А ракеты высвечивают снег, слепят глаза, и мы видны фрицам, как тараканы на зеркале.

Но ребята лежат спокойно. Саперы прорезают дыру в немецкой проволоке. Потом отползают к нам. Сапоги Малютина, две блестящие подковки на каблуках, уходят вперед. И я, плохо понимая, что надо делать, но твердо зная: не отставать от Малютина ни в коем случае, пропаду, — плыву по снегу. Сапоги старшего сержанта замирают, когда вспыхивает ракета, и я перевожу дыхание. Потом — темнота, и подковки на каблуках начинают от меня уходить.

Свет — тьма, свет — тьма, рывок — отдых. Я не успеваю пугаться — все силы трачу, чтобы не отстать от Малютина. Кроме его сапог, ничего не вижу. И вдруг — вражеская траншея у меня под носом, пулеметный огонь вспыхивает и гремит где-то справа и сзади. А Малютин махнул рукой, чтобы подполз и лег рядом.

Подползаю, мерзлые комья бруствера режут грудь, а меня трясет, сердце громко колотится в ушах и горле.

Мы лежим неподвижно, и я справляюсь с дыханием. Не понимаю, почему нас двое, куда делись остальные (потом догадался — они взяли правее, обходя пулеметное гнездо), что будет дальше. А Малютин вдруг мгновенно и бесшумно исчезает в траншее. И, как подкинутый пружиной, влетаю туда я.

Все мысли испарились, кроме одной: стрелять нельзя, охранять Малютина со спины. И я, зачем-то пригибаясь, иду за старшим сержантом, стискивая кулаке мокрую от пота рукоять ножа.

Потом он куда-то кидается. Короткая возня — один немец неподвижно лежит на земле, у второго скручены за спиной руки. Здесь же и другие наши ребята. Потом они все — и я за ними — перемахиваем через бруствер и ныряем в густой туман у реки.

Саперы ждут нас у лодки. Плыдем на свой берег. Немцы всполошились — ракеты вспыхивают одна за другой, пули густым дождем чмокают по воде. А мы уже подходим к знакомому тальнику. И Малютин спускает в окоп ПНП немца: «Держите фрица...»

Восторгов и фанфар не было. «Язык» — ефрейтор того полка, который уже полгода стоит перед нами. Поиск не дал ничего нового. Но меня распирала гордость: сам капитан Рывкин, чокаясь со мной железной кружкой, сказал:

— С первым поиском, разведчик!

А Толя Малютин небрежно-царственным жестом протянул добытый ночью парабеллум:

— Держи, пригодится.

Только потом я понял, что мне в этом поиске попросту повезло. Нас не обнаружили, не обстреляли, никто не был ранен. А главное, мне в эту ночь не пришлось показывать, насколько я овладел знаменитым малютинским ударом.

ВИТЬКА ГУСЕВ

Посмотрели бы на меня ребята из нашего класса или мама!

Из-под пилотки — нахальный чуб, на поясе — финка с наборной — красные и черные кольца — рукояткой, парабеллум (в кобуре от нашего нагана — выпросил у Цветкова), несносимые трофейные сапоги давят железом землю, за плечом —

шмайссер... Господи, каким я был олухом, думая, как поразил бы маму своим лихим видом! Да ей только сын был бы жив и больше ничего не надо.

А я писал домой до обидного редко и скупо...

— Мы — глаза и уши полка, — вдалбливал разведчикам Рывкин, — значит, днем и ночью не спускай глаз с передовой. Проехала телега — запиши, куда и откуда, прополз немец — то же самое. Ночью слушай, не стучат ли колеса, не гудят ли моторы. Помни, войска передвигаются ночью... А «язык» нужен обычно только для выяснения истины.

Утром, когда солнце вставало за нашей спиной, вдруг посреди абсолютно невинной, младенчески зеленой лужайки вспыхивал стеклянный зайчик. Обгоревшая труба, дальше триста, правее ноль — двадцать пять: НП, — записывал в журнале разведчик. Или — нерадивый фриц не успел на рассвете погасить печку, над траншеей дрожал сизый столбик дыма. Расщепленная береза, ближе сто, правее ноль — ноль пять, — блиндаж...

Постепенно передний край немцев стал мне знаком до мелочей. Я знал места пулеметных гнезд, наблюдательных пунктов, огневых, землянок. И понял — точный расчет, а не божественная, непостижимая интуиция ведет Толю Малютина по нейтральной полосе.

Во взводе разведки я стал своим. Ребята знали мне цену и в ночном поиске, и на других разведзданиях. А подружился я с Виктором Гусевым — нас сразу потянуло друг к другу, как только узнали, что мы одногодки, оба из Москвы, и жили, можно сказать, рядом: он возле железнодорожной платформы «Новая», я — на «Перовом поле». Трамваем — минут десять.

Мы любили — хотя бы в мечтах — пройтись по

Москве... Вверх по улице Горького, по левой стороне. Мимо ресторана «Националь» шли равнодушно, ибо еще никогда там не были. И обязательно входили в булочную. Там покупали по теплomu, обсыпанному мукой калачу. Или по бублику, мягкому, в черных родинках мака.

Рядом с булочной — букинистический магазин. Я чуть ли не силой затащивал туда Витьку, — он торопился к телеграфу, хотел посмотреть: цел ли стеклянный глобус над входом. Потом переходили улицу и, мимо «Арагви», топали вниз к Столешникову, где в табачном, пропахшем терпким и сладковатым «Золотым руном», долго выбирали папиросы. Я настаивал на «Беломоре», а Виктор говорил: «Мечтать так мечтать, давай по пачке «Казбека» или «Северной Пальмиры».

И конечно не забывали посетить маленькую кондитерскую, съесть по пирожному. Эклер, наполеон, беже — названия довоенных пирожных казались в блиндаже музыкой.

Если было время, мы затевали длинный поход по парку Горького — от Крымского моста до Нескучного сада. Проходили мимо комнаты смеха и занимали места в Зеленом театре, где, разумеется, в этот день выступали наши любимые актеры — Орлова и Жаров.

А то отправлялись в баню, старую закопченную баню у заставы Ильича. И распарившись, пили пиво, заедая холодными, упругими раками.

До чего необъяснимо широк и невыразимо прекрасен был довоенный мир, в котором можно пойти куда хочешь, где не стреляли, где никто никого не убивал. И мы, солдаты, умеющие уже бесшумно снять часового, глаза и уши стрелкового полка, были в такие дни мальчиками, неожиданно и безжалостно оторванными от родного дома.

НОЧНЫЕ ВЗРЫВЫ

Зимой тысяча девятьсот сорок второго — сорок третьего мы наступали. Полк медленно, с обреченной настойчивостью вгрызался в немецкую оборону. Нас засыпали снарядами, «юнкерсы» — пикирующие двухмоторные бомбовозы — висели над дорогами. Упрямо, оставляя в снегу разбитые телеги обозов и обмерзшие трупы лошадей, полк шел вперед.

Теперь понимаю: нас послали в это наступление, чтобы сковать противника, не позволить ему перебросить войска с нашего участка к Сталинграду.

Мы давно покинули блиндажи и надежные, полного профиля, траншеи. Немец, отходя, сжигал и взрывал все, что можно было сжечь и взорвать. Январский мороз и ледяной ветер не были нашими союзниками, они работали на фрицев, которых каждый день надо было выбивать из деревень и теплых землянок. Выбивать, рассыпавшись по снежному полю, переночевав перед этим в сугробе...

Длинный, крутой холм с обрывистыми склонами наискось пересекал долину. Четвертые сутки батальон лежал перед этим холмом. С черной линии немецкой передовой — снег давно смело нашими пулями и редкими выстрелами полковых орудий — по пехотным цепям непрерывно хлестали очереди. Сидя в тепле — на высоте дымились трубы — и относительной безопасности, гитлеровцы прижали солдат к земле. Точнее — к снегу. А мороз был хорош, за двадцать.

Ночами мороз креп, пулеметный огонь становился гуще, над нами, сменяя друг друга, висели осветительные ракеты.

Замерзали ли вы когда-нибудь так, что уже не чувствуешь холода, и только внутри, не переставая,

все дрожит? Когда согласен даже помереть, но в тепле? Дважды пехота вставала в отчаянной атаке, и дважды плотный, косоприцельный огонь опрокидывал и прижимал ее к снегу. Поземка наметала на убитых белые бугорки снежных могил.

Пятая ночь расстилала для нас простыни голубых сугробов.

Витька Гусев и я вырыли яму в снегу, дремали, прижавшись друг к другу. Просыпаясь, толкали соседа: «Не замерз? Живой?..»

Чей-то валенок постучал о мои валенки:

— Вставай, разведка.

Возле нашей ямы стоял командир батальона, капитан Ковтун. Щеголеватый, молодой, он был удивительно похож на Чапаева, вернее на актера Бабочкина, сыгравшего легендарного начдива. И старательно подчеркивал сходство: заломленная папаха, крылатая бурка, лихо закрученные усы. Ковтун на этот раз был не в бурке, а в засаленном полушубке, обмерзшие усы висели двумя сосульками над черным, обмороженным ртом.

Капитан сел на корточки, протянул нам кисет. Подождав, пока мы свернули сигарки, дал прикурить, осветил огоньком спички наши черные, тоже помороженные лица.

— У немцев что-то тихо. Сходите, ребята, проверьте.

Мы прислушались. С фланга размеренно бил пулемет. Один! В темноту ночи, которая всегда плотнее перед рассветом, не взлетали ракеты.

— Пошли?

И мы двинулись вверх по склону холма.

Боясь попасть в засаду, легли, не дойдя метров ста до фрицев. Тихо. Дали несколько очередей. Не отвечают. Пошли, медленно, готовые каждую секунду упасть, раствориться в темноте. И вот он,

бруствер. Витька, а за ним я спрыгнули в траншею. Никого.

За вторым поворотом хода сообщения — дверь блиндажа.

Луч фонаря обшарил землянку. Явно брошена. На полу рваная бумага, пустые бутылки и консервные банки. На нарах драные одеяла, окровавленный бинт, пробитый осколком сапог. А круглая чугунная печка еще горячая — недавно топили.

Мы пошли дальше — та же картина. Немцы только что здесь были, в землянках теплый, обжитой дух.

В одном блиндаже присели перекурить. Немецкие солдаты привезли разобранную по бревнышкам избу, вырыли точно по размеру яму и собрали там эту избу. Деревянные, чисто выскобленные стены, крашенные полы, железные, с пружинной сеткой кровати...

Витька расщепил финкой какой-то ящик, переломил дощечки о колено, сунул их в топку. Рваной бумаги на полу хватало, и через минуту печка загудела.

Я посмотрел на блаженное Витькино лицо, на черные пятна щек — на морозных ожогах дыбилась белая, недельная щетина — и решил:

— Оставайся здесь. Топи печку, стереги блиндаж. Пойду за пехотой.

И хотя я не был начальником для Виктора, он кивнул: «Ладно».

Я побежал вниз, не обращая внимания на реденькие пулеметные очереди откуда-то с правого фланга. Крикнул нетерпеливо приплясывающему на снегу Ковтуну:

— Все в порядке, комбат, немцы смылись! Веди ребят!

И не успел капитан скомандовать, солдаты, ко-

торые, разумеется, давно усекли: и что немцы молчат и что вперед уже посланы разведчики, поднялись из сугробов и пошли на высоту. И чем она была круче, тем быстрее, вопреки всем законам физики, шли солдаты. Последние метры они бежали.

Человек предполагает, а бог располагает... В армии роль бога исполняют командиры. Ковтун послал меня с донесением в штаб полка. В полку Рывкин нашел мне еще одно дело: провести батальон, который стоял в резерве, на левый фланг. Короче, на свою высоту, в свой блиндаж, я вернулся только к вечеру.

Приближающаяся ночь уже пропитала снег густой и темной синевой. Морозный ветер шатал и кудрявил белые столбы дыма. Иногда над трубой вставал зенитным выстрелом багровый сноп искр — солдаты вновь и вновь раскошегаривали печки.

Витьку Гусева я нашел не сразу. Возле нашего, выбранного еще утром блиндажа, на торопливо расчищенной площадке стояли четыре полковые пушки. А в блиндаже ну конечно вся батарея в сборе.

На меня никто не обратил внимания. Чугунная печка накалена так, что стенки светятся. Солдаты на кроватях и просто на полу, на расстеленных шинелях, в одних гимнастерках, разув фиолетово-синие намерзшиеся ноги, отходят в душном тепле, настоенном на крепчайшем запахе махорки и мокрых портянок.

И только Коля Саморуков, увидев меня, сунул ноги в валенки, накинул шинель и пошел к выходу, осторожно переступая через батарейцев. Он вышел со мной покурить под уже зажегшиеся маленькие угрюмые звезды этой ночи. Он и объяснил, где искать Гусева.

Прошу у читателя прощения за частые отступления, но я обязан рассказать и о Коле Саморукове.

В нашем полку было двое сыновей — мальчишек, прибывших в грозную пору войны к армии. Один, **Алешка Петров**, маленький, шустрый, с беленькой детской челкой, в комсоставском обмундировании, специально для него перешитом полковым портным, жил в землянке комполка. Солдаты так его и называли — сын полковника. Сыном полка стал для нас Коля Саморуков.

Для своих пятнадцати лет был он рослым, и, когда стоял в строю, на левом фланге орудийного расчета, никто бы не подумал, что это подросток... Только вблизи можно было угадать под солдатской, из рыбьего меха, ушанкой вполне мальчишеское лицо.

Коля пришел на батарею в сожженной деревне. Все население лежало на площади возле церкви, порезанное свинцом. Паренек пришел к артиллеристам в калошах на босу ногу и в какой-то немыслимой свитке. Пришел и попросил хлебца.

Солдаты накормили его кашей с американской тушенкой, дали хлеба и сахару. И, наорав на старшину, добыли для мальчика старые ватные штаны, армейские ботинки и шинель.

Ночью, когда полк остановился, наткнувшись на противника, Коля пришел на батарею. Его отругали, объяснили, что фронт не детсад, но... опять покормили и оставили ночевать. Не отправлять же мальчишку назад среди ночи, когда не разберешь, куда идти. А на рассвете начался бой.

Николай под огнем не струсил. С почти взрослой силой и ребячьим бесстрашием он подтаскивал к пушке ящики со снарядами и даже научился свинчивать с фугасных гранат колпачки, превращая их в осколочные.

А после боя наотрез отказался уйти с батареей. Да еще заплакал. Ну, что с ним делать?

Не знаю, кем он проходил по полковым спискам. Но в батарее числился подносчиком снарядов.

Воевал Николай четвертый месяц. Безотказный солдат. Добрый, вежливый деревенский мальчик. В полку его любили. Солдаты звали Колю — Сынок.

Мы перекурили, и, узнав от Сынка, что разведчики в пятом блиндаже налево, я пошел к своим.

Блиндаж — маленький, взводу в нем тесно. Но когда я пришел, ребята уже кое-как разместились, страсти утихли, и один Толя Малютин, заняв, как обычно, самое удобное место на нарах, рядом с раскаленной печью, что-то лениво рассказывал. Витька Гусев, которого, наверное, дружно ругали всем взводом, виновато молчал. Он сидел у печки, освещенный огнем, вырывающимся из щелей вокруг топки, белесый чуб упрямо торчал над насупленным лбом.

— Кончай толковище, — приказал Малютин, хотя ворчал один только он. — Гусев, будешь дневальным. Смотри, чтобы валенки не спалить...

Я дослушивал наставления старшего сержанта, уже пристроив портянки и валенки над гудящей печкой и втиснувшись между храпящими ребятами. Да так и не дослушал — заснул.

Проснулся от взрыва, колыхнувшего блиндаж. Не успел подумать: «Дальнобойными бьют», — истошный крик часового поднял на ноги:

— Блиндажи рвутся! Все наверх! Блиндажи рвутся!

И опять тяжелый взрыв колыхнул стены, на голову посыпалась земляная труха, и ребята, матерясь, рванули к выходу. Печку опрокинули, дым ел глаза, дышать нечем. Я никак не мог найти в сума-

тохе валенки, сгреб в охапку ремни, оружие, шинель, портянки — и выскочил босой на снег.

Отбежав от траншеи, — кто вперед, кто назад, — солдаты, сидя на земле, обувались. Ночь кончалась. Большая Медведица уже опустила рукоять своего ковша, на востоке синеву неба размывало бледно-розовым светом. Справа чернела огромная воронка. И тут грохнули один за другим еще три взрыва.

Светало. Сквозь намотанные портянки ступни леденила слякоть подтаявшего снега. Все куда-то убежали, и только я стоял как идиот возле блиндажа, в котором оставались валенки. Он мог взорваться в любую минуту: немцы, отходя, заложили под блиндажи взрывчатку с часовым механизмом, и, когда он сработает, знают лишь вражеские саперы. А я уже не чувствовал ног, и ближайшая перспектива — оказаться на госпитальном столе, где их ампутируют.

Я переминался на снегу, не зная, что делать. А потом как-то вдруг, очертя голову, кинулся в блиндаж.

Опрокинутая печка погасла. Только несколько угольков дымили на земляном полу. Один мой валенок оказался под нарами, второй — застрял за распахнутой дверью. Схватил их и пулей вылетел в траншею.

Пока я топтался у блиндажа и добывал валенки, рассвело. Обулся и пошел к ближайшей воронке, что чернела на месте блиндажа, который вчера мы с Гусевым облюбовали для себя и откуда Витьку выставили артиллеристы.

Часового возле пушек контузило взрывом, и он, растирая по лицу кровь, сочащуюся из ушей, кричал, думая, как все глухие, что говорит нормально. Он вновь и вновь пытался рассказать: только заступил да закурил — как рванет... А за его спиной

яма глубиной метра в три. Бревна, как спички, поломаны бешеным взрывом. Люди, оружие, клочья шинелей и валенок разбросаны вокруг метров на двадцать. А дальше, по кривому изгибу траншей,— еще пять таких же воронок. Немецкие саперы заминировали крупные, хорошо и добротно построенные блиндажи. То ли хотели погубить побольше людей, то ли надеялись, что такие хоромы непременно займет наше командование.

Мы молчали, стоя у края ямы. Потом какой-то пехотный лейтенант негромко сказал:

— Похоронить ребят надо...

Пятеро солдат с лопатами полезли в яму — выравнивать дно и спрямлять стены. А мы, по двое, разошлись крúгом, четко очерченным покойниками. Первым мы с напарником понесли неизвестного: гимнастерка раздергана взрывом на ленты, лицо стесано до черепных костей. Потом — командира третьего орудия, Якова Щеглова. Обмундирование на нем целое и лицо целое. И спокойное — видно, сержанта убило во сне. Только на виске намерзла кровь.

Третий, четвертый, пятый... Строй мертвецов — плечо к плечу — заполнил дно ямы. На них укладывали новых. Я боялся наткнуться на Колю Саморукова и, не видя его среди убитых, обрадовался: «Наверное, послали куда-нибудь мальчишку ночью...»

Вроде всех перетаскали, — сказал напарник, — перекурим.

Мы сели на ящик из-под снарядов, отерли о снег кровь с рукавиц, закурили. Косматое морозное солнце стояло в небе. Ало-оранжевое, оно резким беспощадным светом высвечивало зеленые пушки, черную землю, выброшенную из воронки, очередь мертвецов на покато́м бугре...

— Чего это вон там чернеет? — спросил не то у меня, не то у себя мой напарник, щербатый, пожилой пехотный солдат. — Сходи, глянь.

Метров в пятнадцати от рокового круга на снегу действительно что-то темнело. То ли мешок, то ли сбитая в ком шинель. Я затоптал окурок и пошел к непонятному предмету.

Только подойдя ближе, понял, что это не мешок и не шинель. Страшно укороченный человек лежал на снегу. Голова, грудь, руки. Там, где должен быть живот, синело что-то жуткое.

Махнув рукой напарнику, мол, иди, — еще один, я взял мертвого за плечо и перевернул. Милое мальчишеское лицо Коли оторвалось от снега. Глаза широко и удивленно раскрыты, рот разбит.

— Ты чего? — засуетился пехотинец. — Ну, будя, будя, утри сопли. Их всех оплакивать — никакого сердца не хватит. Понесли..

У каждого на войне когда-нибудь начинался личный счет к фашистам. У меня начался по-настоящему с похорон Николая Саморукова, сына полка. Я не мог забыть этого мальчика.

ПУСТЯКОВОЕ ЗАДАНИЕ

К концу зимы встали в оборону. Опять — кайло, ломы, лопаты — передовую прорезали три линии траншей, ошетиленных огневыми и дотами, с глубокими блиндажами, скрытыми заподлицо с землей. А все промежутки между траншеями опутаны колючкой, густо наштапованы противотанковыми и противопехотными минами. Разведчики снова круглые сутки не сводят глаз с противника, и постепенно на карту ложатся вражеские пулеметные гнезда, наблюдательные пункты, землянки.

Я, сменившись с дежурства, принес в штаб ночную разведсводку. Обратного на НП можно не торопиться, и я завалился спать в теплой землянке старшины. Поэтому, когда вечером зазуммерил-запищал телефон и капитан Рывкин закончил разговор стереотипным: «Слушаюсь» и «Будет сделано», — он положил трубку и обернулся ко мне:

— Для тебя пустяковое задание. Артиллеристы хотят этой ночью выкатить пушку на прямую наводку, утром постреляют, авось фрицы откликнутся, система их огневая станет яснее. Короче, саперы ночью очистят от мин коридор, по нему к утру выведешь орудие на огневую...

Командир батареи, немолодой, явно из запаса, лейтенант сказал:

— Взвод на огневой, к утру закончит работу и там останется. Саперы снимают мины. Придут сюда, покажут тебе проход, и ты поведешь пушку. Вопросы есть?

Вопросов у меня не было. Я успел в блиндаже у комбата покурить, подремать и опять покурить. Потом, откинув плащ-палатку, втиснулся грузный старшина:

— Где разведчик? Ты? Пошли.

Была темнота, про которую говорят, — ни зги не видно. Ни звезд, ни месяца, низкие облака недвижимой грудой навалились на землю. Шоркая ватниками о глиняные стены, дошли до перекопанного куска траншеи.

— Здесь переведешь пушку. Вылезает наверх.

Наверху светлее не стало. Я надеялся на снег — обычно он, белый, даже в полной темноте дает какой-то отсвет. Но между траншеями и снегом не было. Вернее он был, но перемешанный разрывами немецких снарядов с землей, снег этот не белый, а черно-серый. Сапер торопился:

— Гляди, коридорчик мы сделали таки-так, пушечка пройдет, как по маслу...

В темноте передо мной покачивалась его спина. И хотя я к тому времени научился неплохо ориентироваться на местности, здесь даже не знал — за что зацепиться глазом. Только считал шаги — семьдесят шесть, поворот влево, двести одиннадцать прямо, потом сто семнадцать влево... Миновали еще одну перекопанную траншею. Снова подсчет шагов... Вешки бы, что ли, поставили...

— Неплохо бы тут вешки, — будто прочитал мои мысли сапер. — Да не из чего, и фрицы эти вешки пристрелять могут. А пушку-то на следующую ночь увозить надо...

Впереди, метрах в двадцати, негромкий говор и скрипят лопаты, врезаясь в грунт.

— Вот и огневая. Сюда доставишь орудие. Пошли обратно?

И снова покачивается в темноте широкая, сутулая спина, снова я считаю шаги и повороты, только в обратном порядке.

Когда мы спустились в свою траншею, свернули по сигарке и сапер заискрил кремнем самодельной «катюши», я протянул ему огонек трофейной зажигалки.

— Богато живешь, — он прикурил, глубоко затянулся и словно о чем-то второстепенном:

— В проходе аккуратней, влево — вправо на метр и улетишь вместе с пушкой к гитлеровской маме...

И ушел.

— Все в порядке? — спросил лейтенант. — Отдыхай, сейчас пушку вызову.

Я посмотрел на часы. Отдыхать было некогда, приближался рассвет. Но у артиллеристов все было подготовлено, минут через двадцать запищал

телефон, лейтенант взял трубку и, выслушав кого-то, повернулся ко мне:

— Орудие будет ждать у первого переезда.

Когда я подошел к перекопанной траншее, там еще никого не было. Уныло посвистывал ветер, и темнота, как прежде, — руку вытянешь — пальцев не видно. Потом услышал стук подков и передо мной, на фоне неба — два темных коня, на одном уютно покачивался всадник, сзади угадывалась пушка.

Вылез из траншеи, стал перед конскими мордами.

— А ну, слезай, кавалерия! Поведешь за мной лошадей в поводу. Шаг в шаг. Я останавлиюсь — ты стой. Понятно?

Пока я говорил, всадник слез с лошади. Устало кряхтя, он обогнул упряжку. Взял коней под уздцы, обернулся. Шинель низко, словно армяк, перепоясана по бедрам, сивые шевченковские усы, в руках, где быть бы чумацкому кнуту, плеть. Ездовой мне годился даже не в отцы — в деды.

— Поехали? — спросил дядько. — Может покурим сперва?

— Некогда! — неизвестно почему обозлился я. — Давай за мной.

Пушка накренилась, переваливаясь через траншею (раззява, — подумал я об ездовом). Тяжело брякнуло, как вздохнуло, железо. Потом кони и орудие втянулись в узкий, проложенный саперами коридор.

Двигались медленно. Пригнувшись, почти на четвереньках шел я, до боли в глазах вглядываясь в землю под ногами, и считал шаги... За мной топали кони, отстав метра на полтора. Темнота начинала осветляться жидкой голубизной.

То ли потому, что я заторопился, опасаясь рас-света, то ли потому, что стало виднее,— но, нечаянно спрямив поворот, увидел под ногами подозри-тельный буторок. Сбросив рукавицы, ощупал его,— так и есть: ящик противотанковой мины. Значит, я сбился примерно на метр вправо.

Пока я щупал мину и, мгновенно облившись потом, раздумывал, что делать, дядько с конями подошел почти вплотную.

— Сбился я тут маленько,— сказал, не узнавая собственного голоса,— можно развернуть пушку, подать ее назад, а то не проедем?

— Да ты, что, хлопец, сдурел? Як же я ее раз-верну в такой кишке? Шо это — автомобиль?— у дядька моего даже усы затряслись.— Лошади, передок, пушка — это, бачишь, сколько метров? Тебе, хлопец, приказано — вести, вот и ве-ди, а не выдумляй... Да торопись — светает.

На востоке жидкую голубизну уже чуть подсве-чивало розовым. Еще минут двадцать—тридцать, и мы, нелепо застрявшие на собственном минном поле, будем видны противнику. И обратно не уедешь, для этого тоже надо развернуться...

— Стой смирно! — приказал я. — Буду мину снимать.

— А ты за меня не беспокойся,— сварливо ска-зал ездовой,— ты свое дело сполняй.

До огневой, где пушку ждали артиллеристы, бы-ло метров сто—сто пятьдесят. Я ошибся, выходя на последнюю прямую...

Разбросал ножом землю с крышки мины — при-поднята — значит стоит, падла, на боевом взводе. Искать взрыватель и вынимать его я не решил-ся. Бог знает, сколько прокопаешься, а рассвет на носу. Решил вынуть мину как есть, заряженной. Лезвием ножа провел вдоль деревянных стенок

ящика. Вроде боковых взрывателей нет. Забраться под низ, проверить, нет ли хитроумно поставленного донного взрывателя,— не мог. Приходилось надеяться на свое солдатское везение. Больше не на что.

Подвел ладони под дно ящика и, невольно ожидая, что вот-вот, сейчас у меня в руках грохнут пять килограммов тола, рванул мину из земли. Поставил с ящиком, перевел дыхание и осторожно, стараясь не споткнуться, понес мину в сторону...

Дальше и делать уже нечего. За пять минут довел оружие до огневой. В блиндаже артиллеристов жадно, одну за другой, искурил две сигарки, выпил кружку воды и уже спокойно, по ходам сообщения, зашагал в тыл.

Капитан Рывкин прав: задание и впрямь пустяковое.

ГЛУБОКАЯ РАЗВЕДКА

В феврале сорок третьего мы почувствовали: что-то изменилось на передовой. Сколько мы ни пялились в бинокли и стереотрубы, днем ничего нельзя заметить — ни дымка, ни движения. словно никто и никогда не топил печек, словно в немецкой армии нет ни машин, ни телег. Пусто, неподвижно. А по ночам глухо гудели моторы...

Днем — тишина, ночью — осторожное, еле уловимое передвижение войск. Многие мог бы объяснить «язык», но и здесь фрицев будто подменили: нас засекали прежде, чем мы подползали к окопам. Утренний доклад — «Три О» стал у нас печально-традиционным. «Три О» — обнаружены, обстреляны, отошли. И список потерь — убитые и раненые.

Взвод редел, опытных разведчиков сменяли новички. У меня на погонах появились три сержант-

ские лычки. И хотя мы почти каждую ночь выползали в нейтралку, к утру возвращались грязные, в рваных маскхалатах, вынося убитых и раненых. И снова доклад: «Три Ю».

Ясно одно: перед нами стояли отборные, прекрасно обученные войска. «Какие?» — требовало ответа командование. — «С какой целью?» А кто их знает. «Разведка вы или дармоеды так вашу и так?» Выходило — дармоеды.

Малютин и Рывкин уходили в каждый ночной поиск. И все равно толку не было. Капитан, всегда подтянутый, чисто выбритый, с роскошными баками до нижней челюсти, зарос черной щетиной, перестал менять подворотнички и чистить сапоги. Да и все мы стали походить не на разведчиков — полковых аристократов, а на доходяг из обоза.

Наступил март.

Рывкин все свободное время, а его было мало: ночью — поиск, днем надо хоть немного поспать, — просиживал за картой. И однажды потребовал у старшины горячую воду для бритья и умывания, чистый бинт для подворотничка, ваксу для сапог. Долго фыркал, дребезжа штырем умывальника, чистился и скребся. Потом исчез. Пришел поздно и, натолкнувшись на наши вопросительные взгляды, непонятно объяснил: «Был у комдива. Наклеивается одно дельце. Отдыхайте».

Мы отдыхали: трое суток спали часов по двадцать, вставали только поесть и покурить. На четвертый день, когда ушли и физическая измотанность и нервное напряжение, Рывкин спросил:

— Кто на лыжах хорошо ходит?

На лыжах умели ходить все. Капитан отобрал десять человек, в том числе меня, Малютина, Гусева. Приказал Цветкову освободить нас от наблюдения за противником и от нарядов.

— А чего они тогда делать будут?— ехидно спросил старшина.— В санроту к бабам лазать?

Капитан пренебрег вопросом, туманно ответив: — Пусть отдыхают...

Но мы уже наотдыхались, спать больше не хотелось, и ленивые разговоры крутились вокруг этих непонятных лыж. Не к фрицам же, к которым не могли подползти даже на брюхе, пойдем на лыжах? Кто-то попытался пустить байку, что готовится дивизионный или армейский кросс, но в такое никто не поверил.

На шестой день капитан построил нас и сказал:

— Сегодня привезут лыжи. Каждому подобрать пару для себя. Проверить крепления, палки. Привести в порядок оружие.

Малютин спросил наивно-дурашливым голосом:

— В дивизионном кроссе станем участвовать, капитан?

— Кроссы будут после войны. Разойдись!

Разошлись. Понятнее не стало, но приказ надо выполнять. На стол в землянке поставили банку веретенки, ящик с паклей и масляными тряпками. Вычистили и смазали пистолеты, поменяли в обоймах патроны на новые. Потом взялись за автоматы.

Надо сказать, что к тому времени мы уже сменили шмайсеры на ППШ. Отечественный автомат гораздо точнее клал пули, а в его диск входило семьдесят патронов, а не тридцать, как в немецкий.

Лыжи привезли в полдень. Нормальные лыжи, выбрать пару по росту и подогнать крепления по сапогам — дело десяти минут. Рывкин вывел группу в лес, попетляв в нем часа полтора, очевидно, решил, что все идут нормально, никто не отстает, и прекратил, как он неясно выразился, репетицию.

И снова приказ: отдыхать и никуда не отлучаться.

...Прошла еще неделя. Капитан с утра смотрел на небо, словно зенитчик. Ясные морозные дни его почему-то не радовали. Он мрачнел и уходил на НП. А мы, ленивые и благодушные, валялись на нарах, дымили моршанской крупкой, плели нехитрые байки. Понимали, конечно, что Рывкин готовит поиск. Но какой, куда и при чем здесь лыжи?

Тот день начался поземкой. Низкие облака, сырой ветер и белые жгуты снега над траншеями. После обеда капитан позвонил с НП, и Цветков, положив трубку, объявил:

— Сдавайте документы и награды. Лыжи в зубы и — к капитану.

На наблюдательном пункте Рывкин объяснил задачу:

— Ночью обещают метель. И мы пойдем в тыл к немцам. Проходить будем на стыке их полков. Смотрите, — он показал по карте, — здесь болото, фрицы становились в оборону осенью — в болоте не окопаешься, они и перекрыли его только перекрестным пулеметным огнем. За зиму болото хорошо подмерзло и, уверен, пройти по нему на лыжах можно. Пойдем в дивизионные тылы. Если нужно, сделаем дневку, там есть удобный лесок. И запомните все, а Малютин в первую очередь, — «язык» нужен добротный, грамотный. Не для того мы столько положили, чтобы обозника или кашевара притащить. Порядок движения — гуськом, не растягиваться, я иду первым, Малютин — замыкающим.

К вечеру повалил снежок. Сначала реденький, а потом все гуще и гуще. На НП стало теснее. Пришли саперы, начальник штаба полка майор Мордовцев, связисты проложили добавочную связь от арtpолка, и оттуда пришел какой-то капитан

с пушками на погонах. Последним явился наш Цветков — термос с ужином, фляги на поясе, да еще за ним солдат тащит два каких-то мешка.

На таком, как говорится, уровне нас еще не провозжали.

Цветков высыпал на нары белые пакеты:

— Разбирайте маскхалаты кому какой нравится. Получай сухой паек: по триста сала и по двести колбасы. Ну, и водки с собой по двести. Сухарей возьмите — хлеб на морозе замерзнет.

Стемнело. Снег падал хорошо, плотно. Саперы ушли делать для нас проход. Рывкин торопливо договаривался с артиллерийским капитаном:

— Дайте сначала по левому флангу одного полка, потом — по правому другого. А мы пройдем под вашу музыку. Не накройте болото. Сигнал отхода — две зеленые ракеты. Повторяете артналет.

— Обижаешь, капитан, — басил артиллерист, — все уже пять раз обговорили...

Сапер доложил, что дорога готова. Вылезли на бруствер. Метет ветер, хорошо — в спину. Дошли до прорезанного в проволочном заграждении прохода. Стали на лыжи. Идем...

Разведчика, на котором все подогнано и потому ничто не бренчит и не звякает, одетого с ног до головы в белоснежный маскхалат, скользящего под шорох и посвист метели на лыжах, заметить трудно. А тут еще слева и справа от болота вставляли наши разрывы. И вот уже суматошная немецкая стрельба, ракеты, которые, шутя, гасит вьюга, остались где-то за спиной. Но Рывкин идет, не сбавляя шага. И я скольжу за ним по проложенной лыжне. А за мною еще девять белых призраков. Жарко. Эх, теперь бы кружку воды, колодезной, чтоб зубы ломило, да сигарку потолще! Но Рывкин идет, а снег замечает нашу лыжню.

Потом скользили вдоль какой-то дороги. Метров на пять правее проехал к передовой грузовик, на миг полоснул своими фарами. Протарахтела походная кухня, ветер вырвал из трубы и понес столб искр. Сине-белая выюга начала размазываться светом, когда впереди замаячили черные деревья. Еще минут пять — десять хода, и Рывкин встал.

— Дневка. До рассвета не курить! — капитан говорил шепотом, но здесь, в немецком тылу, и шепот казался чрезмерно громким.

Что расскажешь об этой дневке? Забившись в глубь леса, ждали ночи. Лыжню нашу замело, и догадаться, что кто-то сидит в лесу, немцы не могли. А дорога была от нас метрах в двухстах. Мы ясно слышали и поскрипывание телег, и стук подков, и голоса солдат. Было холодно, курить Рывкин разрешал только по очереди и с интервалом часа в полтора. Водку выпили, сало и колбасу съели. Уж быстрой бы ночь!

К вечеру метель утихла. И только ветер гнал длинные хвосты поземки.

Темнело. Звезд и луны, слава богу, не было. Но от белого снега было достаточно светло. И хотя мы этого ждали, сердце все равно вздрогнуло и застучало, как мотор с перебоями, когда капитан приказал:

— Седлаем дорогу. Мы с Малютиным и вот вы двое залегаете с нашей стороны. Ты, сержант, — это мне, — пересекаешь с ребятами дорогу и маскируешься. Наша группа берет «языка», твоя — отсекает лишних. Никакой самодеятельности. Пока я или Малютин не начнем, лежи и молчи. Берите лыжи, пошли.

Рывкин повел нас к участку дороги, которую он высмотрел еще днем: она шла по холму, снизу, от обочин, дорога и все на ней хорошо видно на фоне неба; в тени высоких, заметенных снегом кустов маскхалаты наши не заметны.

Лежим. Под правым локтем связка лыж, пистолеты за пазухой, ножи у правой руки, автоматы у левой. А дорога живет. Дважды проехали кухни — фрицам на передовую ужин везут, прошел обоз, телег двенадцать, протопало пополнение — примерно рота... Проскрипели мимо наших носов солдатские сапоги — шли группы по двое, по трое. А Рывкин молчит. Да что он, самого Гитлера взять хочет? — начинаю злиться.

Дорога становится пустынной. Вечернее оживление прошло. Теперь фрицы спать завалятся, жди их... Тихо. Сколько уж мы лежим? Час? Два? Ноги в сапогах, несмотря на две байковые и суконные портянки, мерзнут, курить хочется...

Ветер доносит разговор, потом подплыли огоньки сигарет. Большая группа — я посчитал — восемь фрицев. Впереди явно офицер: фуражка, на груди бинокль. Нет, — подумал я, — много немцев, пропустим... Больше думать было некогда.

Выскакивая на дорогу, Малютин по-разбойничьи свистнул. Немцы остановились. И вот уже Рывкин бьет офицера по голове рукоятью пистолета, Малютин заламывает ему руки, а мой нож входит сквозь поднятый воротник шинели в шею низенькому ефрейтору, и слышно, как скрипит материя, распадаясь под лезвием. И гремит очередь шмайссера — кто-то из немцев успевает открыть огонь. Один из моих ребят падает. Гусев в упор из вальтера ударяет по немцу с автоматом.

Два немца бегут обратно по дороге. Приведут погоню! Даю им вслед одну за другой три длинные

очереди. Исчезли, — то ли свалил, то ли залегли.
— Сержант, — передо мной Рывкин, — мы с «языком» уходим. Твоя группа прикрывает. Отойдём метров на двести — триста, двигай. Раненые на твоей совести.

Вся операция длилась минуты три. На дороге четыре трупа. И стонет, стараясь встать, мой разведчик Ваня Негодуйко.

— Куда тебя?

— В ногу. Кость вроде цела...

— Отойдём подальше, перевяжем... Гусев, помоги Ваньке. Пока тихо, на лыжи — и ходу.

Раненый тоже стал на лыжи, два солдата тянут его вперед за палки, третий подталкивает в спину. Мы свое дело сделали, группа захвата с «языком» ушла. Нам надо теперь спасти самих себя.

Погоня настигла только у болота. Отпустив вперед ребят с раненым Негодуйко, мы залегли, отстреливаясь. А потом оторвались от немцев. Сквозь пулеметную трескотню на болоте прошли благополучно. Из-за поземки нас было не видно.

На картах у противника болото значилось непроходимым. И он побоялся в него лезть, считая, что мы и так погибнем.

...Когда наконец вернулись, фрица уже отвезли к начальству, Негодуйко — в медсанбат. Цветков наливал водку и раскладывал по котелкам макароны с тушенкой. А Толя Малютин, поев и выпив, сидел на нарах, подогнув под себя босые ноги, и хвастал:

— «Язык»-то наш супер-люкс, эсэсовский капитан, зараза, хауптман. Уж он-то все планы Гитлера знает...

Хвастливую речь Малютина неожиданно подтвердил Рывкин, вернувшись из штаба:

— Повезло, ребята. Взяли начальника разведки

полка СС, который стоит против нас. Комдив сказал: сержантам, участникам операции,— по ордену Красной Звезды, рядовым — по медали «За отвагу»,— и подмигнул мне: — Верти дырку.

— И это все? — спросил Малютин.

— Почему все? Приказано выдать разведчикам водки и не трогать их неделю.

Водку мы выпили быстро потому, что подносили всем поздравляющим. А их было много.

БОЛОТО

Не помню более жестоких боев, чем в белорусских болотах. А за спиной уже Орловско-Курская дуга, и было что с чем сравнить.

Наша 48-я армия наносила ложный, как потом стало известно, удар. Прорвав фронт на двенадцати километрах и углубившись километров на тридцать, мы стянули к узкому, со всех трех сторон насквозь простреливаемому мешку артиллерийские и танковые силы противника. И огненные цепи молотили нас без пощады. Болото сковали морозы, но сними землю на штык, — и подступает вода. Следовательно, в землю не закопаться, не спрячешься. И равнина открыта со всех сторон, как ладонь. На редких холмах-гривках — либо хилые сосенки, либо маленькие деревеньки.

Командование нашего фронта готовилось к летней кампании тысяча девятьсот сорок четвертого года. Сражение армии входило в план той подготовки. А ложный удар отличается от настоящего только тем, что вдесятеро тяжелей. Самолетов, танков, артиллерии не придают — обходишь собственными силами. Удар фальшивый, и чем больше притянешь к себе противника, тем лучше. А смерть настоящая, и раны настоящие.

...Полк ввели в бой во второй половине дня. Батальон, развернувшись в цепи, пошел в атаку. Деревушка Ракшино уже три раза переходила из рук в руки. Нам предстояло выбивать из нее немцев в четвертый раз.

От гривки, поросшей чахлым сосняком, до деревни — километра три. Вся наша артиллерия — полковые батареи и минометные роты батальонов — была с той гривки по Ракшину. Фрицы отвечали, да так мощно, что наших пушек не было даже слышно. Из болота всплескивалось и снова затихало отчаянное: «Ура-а!»...

Уже наступила ночь, когда пришло донесение, что пехота ворвалась в деревню. Стрельба там то вспыхивала, словно патроны ящиками швыряли в костер, то смолкала. И было непонятно, кто же в деревне — мы или немцы.

Рывкин со взводом выполнял какое-то задание, а меня оставили для связи при штабе полка. Это был не самый легкий хлеб — весь день я метался по приказам штабных с левого фланга полка на правый и наоборот. Туда — приказания, оттуда — донесения и так далее. Устал как собака. И когда наконец все утихло, забился под корень вывороченной разрывом сосны, натянул расстегнутую шинель на голову, руки — в рукава и провалился.

Сколько спал — не знаю, наверное, минут сорок. Меня трясли за плечо: «Разведчик, к комполка! Срочно! Да просыпайся ты, хмырь!»

Разлепил глаза. «Погоди, закурю», — попросил у кого-то длинного, что будил. «Ну, даешь!» — сказал длинный (я узнал адъютанта командира полка). — Я и так тебя полчаса искал. Пошли срочно...»

— Дай закурить, покурю — оклемаюсь, а то ни черта не понимаю...

Адъютант протянул мне папиросу и, подождав, пока я пару раз затынусь, снова заторопил:

— Пошли, по дороге покуришь.

В шалашике комполка, срубленном из молодых сосенок и укрытом плащ-палатками, на шатком столике горела свеча, воткнутая в пустую водочную бутылку. На небритом лице глаза в красноватых, подпухлых веках. Эти глаза, давно и регулярно недосыпающего человека, воткнулись в меня.

— Вот что,— сказал подполковник,— из Ракшино никаких вестей. Телефонистов погнал по линии, не возвращаются, наверное, накрылись. Сам у телефона сижу,— он кивнул на аппарат,— связи с батальоном все равно нет... Тебе придется туда идти, узнать, что в деревне. Хватайся за нитку,— он опять кивнул на телефон,— по ней до КП батальона. И обратно. Да еще вот что: в болоте раненых полно, скажешь, санитаров высылаю, к утру всех вытащим. Иди.

Болото, как отошел от сосновой гривки метров на сто, начало хватать за сапоги. В снарядных воронках поднялась вода, потом ее подернуло льдом, и когда оступался, трудно было выдирать сапоги из крошева льда и торфа. Впервые в жизни услышал: все болото стонало. Протяжно, устало, нестерпимо. На одной ноге.

— Помоги, братишка, не дай помереть,— молил кто-то справа.

— Помоги, парень,— это уже слева.

— Помоги, помоги, помоги,— умоляющие голоса и слева, и справа, и впереди.

— Ребята, я — разведчик, сзади санитары идут,— пытался я объяснить.

— Гад, сам целый, на товарищей плевать, гад... — это уже вдогонку.

А что я мог? Только начни и до утра провозишься.

А комполка ждет. И те, в Ракшино, может, ждут. И я шел, стиснув зубы, стараясь не слышать. А не слышать было нельзя.

Над болотом перекрещивались пулеметные трассы. Методично, с интервалом примерно в пять минут, шлепались мины. Но в темноте гитлеровцы ничего не видели, огонь вели, можно сказать, на всякий случай. Кабель шуршал в рукавице, царапал ее узлами скруток. А вот какой-то парень ничком, прямо на проводе. Перевернул его, освобождая линию.

Телефонист, на груди аппарат. Успел починить порыв, а самого посекло осколками.

Пошел дальше. Вот и еще порыв — разрывом снаряда вырвало метров десять провода. Дальше.

Чем ближе к деревне — тем меньше раненых. Только убитые. А кабель пошел вверх, почва под ногами перестала хлябать. Вот она, на взгорке, деревня. Кто в ней? Наши? Немцы?

Лежу, стараюсь угадать. Ведь нехитрое дело и самому в руки фрицев прийти. И лежать бесконечно нельзя — меня ждут.

Машина времени, правда, только с одним ходом — обратным, не выдумка фантастов. Я отчетливо помню промозглое дыхание прелого, морозного болота, стоны и проклятья раненых, самого себя, двадцатилетнего, лежащего на скованной стужей земле. Стынут мокрые ноги, я вглядываюсь в черные избы и стараюсь угадать, кто в них? Хоть бы выстрел...

Тишина. Зеленые булавки звезд в черноте неба. И каким облегченным толчком отзывается сердце на взлет белой осветительной ракеты где-то над серединой деревни. Значит, этот край наш!

...Командный пункт батальона — третья изба с краю. Впрочем, от избы остались одни стены. В оконных проемах нет не только стекол — рам, в потолке две дыры — прямые попадания снарядов, дверь снята с петель и теперь «работает столом» у комбата, капитана Ковтуна.

Справа от входа пол вырван или сожжен, в погреб до оконных проемов — убитые. Огонь свечи, которая горит перед Ковтуном, кладет качающиеся блики на головы, туловища, руки... На белых повязках чернеют кровавые пятна. Жутко.

А комбат за день уже пригляделся, его мертвецы не волнуют, его беспокоят живые.

— Отнесешь донесение комполка, — говорит мне Ковтун, — все равно собирался посылать, ты и отнесешь. На словах скажи: полдеревни у нас, пол — у фрицев. Утром они будут меня вышибать. Чтобы удержаться, нужна артиллерия. Пусть комполка хоть противотанковую батарею сюда подкинет. Без нее не устоим. Жди, сейчас напишу.

Комбат подвигает к себе свечу и бумагу.

— Жрать хочешь? — спрашивает и кивает на стол: — Заправляйся...

Наливаю себе полкружки ледяной водки, отрезаю солидный кусок от буханки, черпаю ложкой из банки мясных консервов. Ел сегодня я уж не помню когда...

Ковтун пишет, связист, которому я объяснил, где порыв, ушел с катушкой и аппаратом. Ветер, залетая в избу, шатает огонек свечи. И пляшут желтые блики на мертвых лицах — кажется покойники хмурятся, улыбаются, вот-вот что-то скажут...

— На словах передай — без пушек мне крышка. А батарею поведешь по моему левому флангу. Там гать через болото. Гать простреливается, да здесь все простреливается, проскочишь.

Обратная дорога всегда легче и короче. Раненых, у которых хватило сил дожидаться санитаров, уже вынесли. Командир полка кидает донесение на стол, не разворачивая.

— Связь есть, я уже говорил с Ковтуном. Пушки через минуту подъедут, отведешь их в деревню. Все. Иди.

А к шалашу подъезжают артиллерийские упряжки. Два орудия: значит, не батарея, а взвод. Ну, начальству, как говорится, виднее.

Сажусь на передок к молоденькому лейтенанту, и мы скачем. Ездовые не снимают плетей с конских боков, бешено стучат копыта. Пулеметные трассы то проходят над головами, то рвут землю у конских ног. Разрывы встают багровыми столбами сзади.

Немцы быют по слуху. И все время опаздывают, накрывают огнем место, где мы были секунду назад.

Вот и Ракшино. Разворачиваю пушки возле КП батальона. Лейтенант идет к Ковтуну докладывать, что прибыл, а я поворачиваю обратно на болото. А то Ковтун еще что-нибудь придумает...

...И опять, не успел вроде и заснуть, властно и грубо трясут за плечо. Первое, что вижу, солнечные лучи в сосновых иглах: значит, все, — думаю, — проход через болото закрыт до вечера.

Иду за адъютантом комполка, тупо соображая, зачем я теперь понадобился начальству?

У командира полка в шалаше старший лейтенант, артиллерист — на погонах скрещенные пушечки, на груди — ППШ, на поясе — гранаты. Прикидываю — чего это старлейт вооружился до зубов, ему же, чтобы из пушек бить, автомат не нужен, — комполка протягивает мне пачку «Казбека»:

— Закуривай, сержант.

Закуриваю конечно. После махорки папироса удивительно вкусна. И думаю: ох не к добру подполковник такой любезный. А он говорит:

— Проспал ты артналет по деревне. Ковтун звонил, что артиллеристы почти все полегли. Орудия целенькие, снарядов полно, а управляться с ними некому. Короче, поведешь в Ракшино взвод, вот он, — кивок на старлейта, — командир взвода...

— Так, товарищ подполковник...

— При дневном свете болото непроходимо? Даже раненых вытаскивают только ночью? Так раненых тащат медленно, а вы бегом. Приказываю: пройти! Без пушек батальону как-то. Выполняйте!

Мы со старлейтом козырем, гаркаем «слушаюсь!» — и выходим из шалаша. За ним, метрах в двадцати, взволнованные пушкарки, увешанные гранатами, подсумками с патронами, вещмешками.

— Твои люди? — спрашиваю старлейта. Он кивает. Увидев своего командира, солдаты встают, какой-то рьяный старшина их строит, но старлейт машет рукой, мол «вольно», и указывает на меня:

— Разведчик нас поведет. Он уже дважды туда ходил и, как видите, жив-здоров. — И ко мне: — Может, скажешь чего?

Почему бы и не сказать?

— Ходил я в Ракшино ночью, это вдвое легче. А сейчас главное — быстрота. А вы на себя, как на вьючных ослов, груза понавешали. Скидывайте гранаты и патроны — этого добра и в Ракшино у пехоты хватает. Оставить при себе только личное оружие.

С поясов, из карманов извлекаются гранаты — и «феньки», и противотанковые «утюги» — целый арсенал, ссыпаются в кучу патроны.

— Порядок движения: я впереди, вы — за мной,

да не поодиночке, рассыпным веером, цепью, чтоб было понятней. Замыкает старлейт. Не отставать. Не застревать возле раненых. Это забота санитаров — наше дело вперед.

Ребята смотрят на меня как на господ бога, а я торопливо прикидываю, как мы пойдем. Примерно на полдороге — сгоревший танк, под ним отдохнем, перекурим и последний рывок — в деревню.

— Все готовы? Пошли.

Спускаемся в болото. Вот, справа, нитка кабеля, по которой я шел ночью. Блестят свежим льдом воронки. Между кочками, вразброс, серые шинели, — этим уже ничего не надо. Последний раз оглядываюсь на свое побледневшее воинство, даже у старлейта заметно поубавилось форса. Это ему не из пушек палить — прицел больше — два, левее ноль пять, огонь, — а до фрицев километров шесть...

Все. Теперь у меня задача: дойти самому и довести тех, кому сегодня повезет. Нацеливаюсь глазами на черный силуэт танка.

— За мной!

Началась игра наперегонки со смертью. Бегу, падаю возле кочек — хочу отдышаться, вскакиваю, снова бегу. А пули — пулеметчики нас явно засекли — то крошат лед под самым носом, то проносятся над головами... Но на пулеметах, как известно, нет оптических прицелов, не вмешались бы снайперы... А вот завизжали, обрываясь коротким злым вскриком разрывов, мины. Бегу, падаю, бегу. Разрывы левее, падаю под бок убитым, чтобы хоть заслониться от осколков. И они служат свою посмертную службу: не дрогнув, принимают удары осатаневшего металла.

Вот он, танк. Падаю под него, как компрессор стягивая сорванными легкими воздух. Теперь могу посмотреть, где мои. Бегут, молодцы, бегут... Отстали конечно, но главное — бегут.

Ночью, когда я проходил мимо этой железной хаты, не заметил мертвых танкистов. Выбирались они, очевидно, из горящего танка, и сами полыхали как факелы. Мои герои, один за другим падая под танк, сразу же упираются глазами в убитых. Место для передыха выбрал я, скажем прямо, не самое удачное, но другого-то нет...

Наконец добегают до танка и старлейт. На немой вопрос ребят отвечает: «Троих потеряли. Двое убиты. Сидорчук в живот ранен».

В живот, да еще на болоте, откуда его можно вытащить только ночью. Считай, старлейт, трое убитых. Но этого я, понятно, не говорю. Говорю я другое:

— Покурите, ребята, отдохните и — последний рывок. Вот оно, Ракшино...

До деревни чуть меньше километра. Глазами — так рукой подать. Но кто добежит, а кому и не добежать... Солдаты, выкурив по сигарке, сразу же сворачивают новые. Они бы и до вечера здесь курили, лишь бы не вылезать под пули.

А наша артиллерия начинает бить, снаряды свистят, идут над головой. Ковтун поднимает пальбу в деревне. Это стараются прикрыть нас как могут.

— Кончай ночевать! За мной!

И снова бегу, падаю и бегу. И вот он, взгорок, который хоть немного заслоняет от немецких пулеметов. Вот черные, обкусанные пулями и осколками стены изб. Старлейт торопливо разводит людей по орудиям. На последнем перегоне он потерял только одного.

На КП батальона весь наш разведвзвод. Точнее, что от него осталось. Капитан Рывкин перемазан какой-то зеленой болотной грязью. Рядом с ним

опасливо озирается небритый рыжий фельдфебель — значит лазили сегодня за «языком». Фриц не связан — куда он отсюда денется, в штаб его переправят ночью. Сидит он, настороженный, прямо-таки на одной половинке задницы, испуганно косится на длинный труп, укрытый с головой плащ-палаткой. Подхожу ближе и вдруг замечаю: торчат из-под палатки грязные хромовые сапоги. Очень знакомые сапоги. Сталкиваюсь с капитаном глазами, он протягивает мне пачку немецких сигарет и подтверждает:

— Малютина убило. Осколком. На обратном пути.

Поднимаю край плащ-палатки. Лицо у Толи Малютина спокойное, очень белое. Кровь уже застыла на шее и затылке.

— В затылок. И не почувствовал,— говорит капитан.— Легкая смерть.

Жениться Малютин не успел. Но мать у него есть. Как она, наверное, радовалась, что сын награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды...

Как я ни одеревенел за последние сутки, видеть **исправимо неподвижные, какие-то неопровержимо мертвые хромовые сапоги** не мог. А они лезли **в глаза, куда бы я ни смотрел**. Гусев, который был **в сегодняшнем поиске**, тоже все время натывался **на Малютина глазами и отводил взгляд в сторону**.

— Пойдем отсюда, Витька.

— А куда?

— Через две хаты — огневая артиллеристов. У меня там старлейт знакомый.

— Пошли.

...На огневой как всегда на огневой после боя. Между станинами раскатанные сапогами снаряженные гильзы. В горле першит от пороховой гари.

Сбоку и чуть сзади, на откуда-то добытых досках — трое раненых. Двое — легко, а у одного, пожилого, прошита осколком грудь. До вечера он не доживет, а белым днем под пулями и осколками его никто не потащит через болото. Солдат то замолкает, — может, теряет сознание, а может, уже просто нет сил, — то снова начинает стонать. Жалко мужика. Сейчас на операционный стол — был бы жив.

Читатель, наверное, недоумевает: почему не появляется медсестра, милая девушка с санитарной сумкой, которая по всем традициям должна подползти, помочь раненому и потащить его на себе, вынося из боя.

Санинструктор по штатному расписанию полагается один на стрелковый батальон. А в него входят три пехотные роты. Если во время атаки девушка с санитарной сумкой станет метаться по стрелковым цепям, она поможет двум-трем... А дальше ее убьют или ранят, батальон останется без медицинской помощи.

Ставя ротам боевую задачу, комбат всегда указывал, где будет медпункт. Командиры рот перед атакой показывали солдатам на местности медицинский пункт и выделяли из роты двух—четырех санитаров. Им-то и ползать под огнем, вытаскивая своих товарищей. И дотаскивать их до медпункта, до девушки с санитарной сумкой.

Сюда — в овражек, блиндаж, подвал, когда что найдется, — и собирались раненые из трех стрелковых рот. И санинструктору, девятнадцатилетней девчужке, дел хватало. Всем — противостолбнячный укол, переменить наспех наложенные санитарями повязки, решить быстро и безошибочно, какого раненого надо немедленно отправить дальше, в санроту, где работает врач, а какой может подождать.

А каждый человек хочет жить и считает свою рану тяжелой. Раненые требуют, матерятся, изнемогают от боли и потери крови. И мечется между ними девочка со шприцем и бинтами. Промокает на лицах пот и кровь. Просит: потерпи, родной, потерпи, сейчас станет полегче, на следующей повозке тебя отправим... Рукава гимнастерки у нее по локоть в чужой крови.

Они были мужественными и милосердными, эти девочки. Они умели в такие минуты становиться для беспомощных мужчин и мамами, и женами, и невестами. Я не раз лежал в медпунктах, чувствуя, как боль под бинтами вгрызается в тело. И помню женские руки с кружкой воды, с марлевыми тампонами, помню — всегда! — ласковый голос: «Потерпи, родной. Потерпи, скоро тебе станет легче...».

И знаете, хорошо, что на фронте никто не посылал медсестер в стрелковую цепь. Тыл, в котором они работали, был в трехстах—четырехстах метрах от атаки. И не одна девушка погибла от артралета, от гусениц прорвавшегося танка.

Вечная им память и любовь солдат, которых они спасали.

Тишина наступила в Ракшино. Гулкая тишина. **Мы не** готовились наступать сегодня — не было сил. **Нам дай бог** удержать, что вчера взяли. А немцы? **Тишина** на передовой всегда не к добру.

И вот проскрипел — раз за разом — фашистский **шестиствольный** миномет — ишак. Не успела последняя мина разорваться, вся немецкая линия осветилась вспышками.

Воздух обрел густоту и плотность. Он ревел, рычал, качался. Казалось, ему было тяжело нести

бесчисленные снаряды и мины, которые рвали его своими цилиндрическими телами. Разрывы слились в один безостановочный грохот. Дым и земля смешались, поднялись до неба. Дышать нечем, от сгоревшей взрывчатки, запаха тола щиплет глаза.

Окопов, напоминаю, в Ракшино не было — болото. Мы лежим, артиллеристы и я с Гусевым, между развернутыми станинами. По спине барабанят комья мерзлой земли — иногда стукнет так, что не поймешь сразу — земля или осколок.

Когда в лицо плеснуло чем-то горячим, вроде супа, я не понял, что это. Вытер ладонью серое, в кровавых сгустках. И только глянув на рядом лежащего Гусева, понял: осколком у Витьки срезало полчерепа.

И даже заплакать не было времени: фрицы пошли в атаку. Я подтаскивал пушкарям ящики со снарядами, стрелял из автомата, бросал гранаты...

Когда немцев отбили, поискал глазами Виктора. Труп его артиллеристы откатили за край огневой — мешал стрелять.

Сровнял лопатой края двух воронок, положил туда Виктора и, торопясь обогнуть выступающую на дне воду, закидал его землей.

— Умойся, — сказал старлейт. — У тебя на лице...

Прошло столько лет, а я помню, как спокойно и равнодушно шел от огневой к КП батальона. Свистели пули, вгрызались у самых сапог в землю. А мне было наплевать, попадут или нет. словно вырвали у меня из души самое главное, и даже инстинкт самосохранения отключился. Казалось, я сломался, мне попросту в тот день не хотелось жить.

— Чего это ты какой-то... — не сразу нашел слово капитан Ковтун, — опрокинутый? Дружок твой где?

— Убило Гусева.

— Если бы одного Гусева,— вздохнул комбат.— У меня треть батальона накрылась. Да и Рывкин ваш вон лежит...

Рядом с мертвым Малютиным лежал под одной плащ-палаткой другой длинный труп, тоже в знакомых и памятных хромовых сапогах.

А немецкий фельдфебель, живой, сволочь, испуганно озирался, подсев поближе к Ковтуну.

Взвод пешей полковой разведки — моя первая военная семья. Был он выбит почти целиком весной тысяча девятьсот сорок четвертого года в белорусских болотах. Погибли самые близкие мне люди — Гусев, Малютин, Рывкин. И кто их теперь назовет громко по имени, если не я? Не знаю, была ли у капитана Рывкина жена, дети. У Малютина и Гусева никого, кроме матерей. Да и тех теперь уже нет на земле.

Двадцать миллионов павших — это статистика войны, память страны, наша общая память. А Малютин, Гусев, Рывкин — моя личная память. Моя, притупившаяся с годами, но не заживающая боль.

Война продолжалась...



*Чтоб мальчики вихрастые мужали,
чтоб девочки счастливыми росли,
гусары в битвах сабли обнажали,
а мы с тобой
на пулеметы шли.*

Часть вторая

КУРСЫ
МЛАДШИХ
ЛЕЙТЕНАНТОВ

ПИСТОЛЕТЫ СДАТЫ! ЧУБЫ ОСТРИЧЫ!

...Война продолжалась. И вскоре разрыв тяжелой мины сомкнул надо мной края окопа. Ребята выкопали из земли. Очнулся я в медсанбате.

Во время операции «Багратион», когда мы окружили и взяли в плен тысячи немцев, воевал я уже в артиллерийской батарее, куда попал после госпиталя. Был командиром отделения разведки во взводе управления. И когда осенью сорок четвертого предложили учиться на офицера, легко согласился потому, что ни к кому на батарею не прилепился душой, так и не смог забыть ребят полковой разведки.

Собрали нас человек пятнадцать старшин и сержантов в штабе дивизии, вручили направления и аттестаты, и зашагали мы в тыл, на армейские курсы младших лейтенантов.

Начинался сентябрь. Золотая с рыжиной лисья шуба укрывала польскую землю. Факелами полыхали осины, желтели свечи берез. На перекрестках дорог, на высоких крестах встречали и провожали нас распятые Христы. Гораздо более сильными символами страдания были для всех люди на фашистских виселицах, с аккуратно скрученными за спиной руками, с черными табличками: «партизан»

на груди. В Белоруссии мы на это насмотрелись...

Не торопясь, шли от деревни к деревне, меняли трофейные часы и мыло на сало и самогон. Знали, что это последние дни нашей вольготной жизни, когда идешь, пока хочется идти, и спишь, пока спится. И вот уже не доносятся до слуха даже отдаленные разрывы. Армейские тылы — мастерские, склады, банно-прачечные отряды — поражали нас спокойным, размеренным бытом.

Живут же люди, а еще небось пишут домой, что воюют...

В полдень, солнечный и ясный, пришли наконец в село, где разместились курсы. И сразу началось то, что нам, разумеется, не могло нравиться.

Мы, лихие младшие командиры, вошли в село веселой гурьбой. Многие были на офицерских должностях, потому и в комсоставском обмундировании. На поясах кобуры с парабеллумами, вальтерами, наганами, ТТ. Из-под пилоток и фуражек — чубы всевозможных колеров, от белесо-льняных до вороних. И конечно ни у кого двухметровых голенищ, обмоток, — у всех кирзовые, хромовые трофейные сапоги...

У первой же избы нам повстречался старшина, одетый в новенькое солдатское хэбэ. Пилотка с алой звездочкой по-старшински посажена набекрень, но голова наголо оболванена под «нуль».

— Новенькие? — спросил он.

— Ну, — согласились мы.

Старшина опасливо обернулся на село, хмыкнул, оглядывая нас, предложил:

— Давайте присядем, прикурим. Я вам местную диспозицию доложу.

Отошли от дороги. Желтая трава была пыльной

и теплой от неяркого осеннего солнышка. Старшина, дыша сизым махорочным дымом, невесело рассказывал:

— Мы позавчера такими же дураками пришли. Первое дело еще в штабе у нас пистолеты отобрали — младшим командирам не положено. Потом постригли. И вот, — он ударил по лодыжке, — вместо сапог выдали ботинки с обмотками... Дёскать, у кого сапоги, будет быстрее других обуваться по тревоге...

— А они нам выдавали пистолеты, чтобы отбирать? — загалдела братва. — И чего им волосы наши мешают! Да пошли они!..

— Во-во, — злорадно подхватил старшина, — мы так же вопили. Подполковник сказал: «Кому не нравятся наши порядки, может сегодня же откомандировать обратно». Ну, куда денешься? Прячьте, ребята, пистолеты в мешки. Чубы и сапоги не убережете — они на виду. А на глотку здесь никого не возьмешь: на гауптвахте уже пятеро таких гордых сидит. Ясна обстановка?

Мы сняли с поясов кобуры с пистолетами, запихнули их в вещмешки. И, вполголоса матерясь, потащились за старшиной к штабу.

В небольшой комнатке, куда нас впускали по очереди, седоватый подполковник, как потом узнали, заместитель начальника курсов Габынин, обошелся с нами умело и быстро, как повар с картошкой.

Вошел, доложил, обежал глазами стол с телефонами, сейф, окно с какими-то беленькими занавесочками. Подполковник мазнул по мне голубыми отчаянными глазами (потому что такие светлые, что ли, успел подумать).

— Документы! — и сделал какую-то отметку на бумажной простыне. — Из артиллерийской части? В третью роту, четвертый взвод. Следующий!

Когда, перед тем как разойтись, закурили по последней возле штаба, выяснилось: нас разбросали поодиночке по ротам и взводам. А рот на курсах три: стрелковая, пулеметная и сборная. В сборной, третьей, куда попал я, четыре взвода: разведчики, связисты, саперы, артиллеристы. Доказывать, что я больше разведчик, чем пушкарь, не стал. Повторять судьбу капитана Рывкина, скажу прямо, мне не хотелось. А главное, — думалось, — четыре месяца в тылу. Отдохну от передовой.

Но надежды на отдых, да еще четырехмесячный, тешили недолго. Срок обучения был приказом командующего армией сокращен до трех месяцев. А программа осталась та же. И вышло — по десять часов ежедневно занятия и два часа на самоподготовку, то есть на домашние задания. Остальные двенадцать часов — сон, еда, чистка оружия, личное время. Не густо.

Я и не пикнул, когда под машинкой парикмахера упал черными клочьями мой великолепный чуб.

ПОДПОЛКОВНИК КУДРЯВЦЕВ

Вскоре курсантская жизнь вошла в четко обозначенную расписанием и приказами колею. Мы втянулись в жесткий, не оставляющий времени ни на что личное ритм. С шести и до двадцати трех часов, от подъема до отбоя, офицеры нас передавали из рук в руки, вколачивая знания по топографии, артстрельбе, саперному делу, тактике, необходимые для дипломированного комвзвода. Много мы конечно знали и до учебы, но курсы сводили знания в систему.

На курсах впервые понял я неоспоримость истины: образование — свет, необразованность — тьма. Те ребята, у кого за спиной шесть-семь классов, пыхтели и потели над простейшими артиллерийскими задачками. Ну, а те, в багаже у кого была десятилетка и больше, учились легко. И во время самоподготовки могли выкроить часик, чтобы подремать. Зная геометрию, нетрудно смоделировать любой треугольник, который всегда обязателен в артиллерии: батарея — наблюдатель — цель.

Из нас готовили командиров огневых взводов, поэтому артиллерийское дело было главным предметом в нашем взводе. Часов по шесть в день мы или под присмотром лейтенанта Петровых собирали и разбирали замки орудий, доводя движения до полного автоматизма (перед окончанием курсов умели это делать с завязанными глазами), или драили пушки, или, разбившись на расчеты, по команде «к бою», «отбой» снимали и надевали чехлы, разводили и сводили станины лафетов. Стрельбе же с открытых и закрытых огневых учил нас старший преподаватель, подполковник Павел Петрович Кудрявцев.

Если можно так сказать, Кудрявцев артиллерист божьей милостью. Маленький, сухощавый, он слегка прихрамывал (рана под Сталинградом, где он командовал дивизионом), был в перерывах удивительно демократичным, курил и балагурил, окруженный курсантами, подчеркивал, что видит в нас завтрашних офицеров. А на занятиях становился чертом, насмешливым и упорным. Поблескивая холодными синими глазами, он въедался в курсанта, объясняя, подстегивая насмешками... Он давал исходные: наблюдатель — отметка по буссоли на батарею и цель. Пять минут на подготовку и: — Курсант Сидоров, начинайте стрельбу...

Тот называл прицел и угломер.

— Дали по своим. Курсант Лукьянов, ваше решение?— Пауза.— Взяли на километр вправо.

Потом, когда мы наконец пристреливались, объяснял ошибки. Но это в классе. Хуже на полигоне. Там нас экзаменовали пушки.

Павел Петрович, выслушав команду курсанта на батарее, язвительно спрашивал:

— Вы уверены? Прекрасно.— И кивал телефонисту:— Огонь!

И, бывало, снаряд уносило куда-то, разрыв вставал так далеко от цели, что его едва разглядишь.

— В чем ошибка?— Кудрявцев спрашивал нас, стоящих полукругом за стреляющим. И неожиданно вырывал одного из группы:— Командуйте!

Мы никогда не знали, кого выберут его глаза в следующую минуту, кто будет отдавать команду. И это всегда держало взвод в напряженном внимании, и прилежные, и лодыри—все работали у Кудрявцева.

Прекрасно зная историю артиллерии, Кудрявцев рассказывал о прошлых войнах так, что у подполковника выходило: всегда и везде сражения выигрывали пушкари, пехоту и кавалерию он вроде и не брал в расчет. Я однажды на перекуре сказал об этом.

— Правильно, голубчик,— весело блеснул Павел Петрович холодной синевой взгляда.— Не забывайте, Наполеон был артиллерийским офицером. И Петр Первый, который под пушечные залпы рубил в Европу окно, бомбардир, а так в те времена называли артиллеристов.

...Когда уже приближался день окончания курсов, подполковник спросил меня:

— Не мечтали, кем будете, если останетесь живы?

Мы были одни в ротной канцелярии, и я не по-уставному усмехнулся:

— Выживу — подумаю, Павел Петрович.

— А все-таки? — настаивал Кудрявцев... — По-этом? — разочарованно протянул он. — А у вас артиллерийский глаз, голубчик. Вам надо быть кадровым артиллерийским офицером. И пишите себе на здоровье. Лев Николаевич Толстой, по-моему, первый писатель России, артиллерийский поручик...

Спорить с Кудрявцевым было невозможно. Он любил пушки, как писатель любит слово. Он был одержимый, а только одержимые, я думаю, настоящие люди.

И если Павел Петрович жив и прочтет эту книгу, хочу ему сказать:

— Мой дорогой наставник, я не стал кадровым офицером, вы уж простите меня. Но я был командиром батареи, старшим лейтенантом, или поручиком, как великий Толстой. И в этой книге немало страниц еще будет отдано моим товарищам — артиллеристам.

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

До чего же была хороша капитан медицинской службы, начальник нашей санчасти! Высокая, статная, из-под военного беретика — густая шапка светло-русых, с медным отливом волос. Глаза как в сказке о русской царевне, огромные, какие-то неправдоподобные, яркие глаза... Стоит ли говорить, что роты, проходя мимо, совсем не по-уставному пялили на капитана медслужбы очи, тяжело вздыхали. Передние, по которым равняли шаг, сбивались с ноги, отчего вся колонна начинала прыгать, стараясь попасть в ритм.

— Тверже шаг! — кричали командиры. — Не сг-
гать козлами! Раз, два, три!

А сами улыбались, понимая, что это капитан
мгновенно доводит курсантов до обалдения.

Но что говрить о нас, двадцатилетних мужиках,
оторванных войной от всего, что полагалось по воз-
расту, — от свиданий, любовных писем, блаженных
встреч... Нам, как говорится, сам бог велел взды-
хать, завидев такую красавицу. Офицеры курсов,
наши строгие начальники и преподаватели, тоже
были к ней не совсем равнодушны. Мы не раз ви-
дели, что возле штаба или офицерской столовой
капитана медицинской службы окружали и лейте-
нанты, и подполковники. Очевидно, у каждого муж-
чины независимо от воинского звания при встрече
с Ириной Владимировной вырастал под фуражкой
петушиный гребень и появлялось необратимое же-
лание, если не нравиться, то хоть обратить на себя
внимание...

А наше знакомство ограничилось единственной
встречей.

Прибыв на курсы, мы стояли перед ней на мед-
осмотре в чем мать родила. И больше контактов не
предвиделось: здоровьем в те годы бог не обидел.

Но когда у меня случилась необходимость обра-
титься за помощью к врачу, я делал все, чтобы от-
тянуть неминуемую встречу...

От спокойной жизни, от ночей в хорошо протоп-
ленном доме, от того, что спали не только без са-
пог и шинелей, но и без гимнастеров и брюк, орга-
низм, наверное, решил: хватит напрягаться, выкла-
дываться полностью. Можно себе позволить пере-
дышку. Ничем иным объяснить не могу, почему
у меня, здорового парня, к которому на передовой

не приставала ни одна хвороба, вдруг в тылу начали вскакивать один за другим чирьи.

Первый появился на правой руке, выше локтя. Мне разрешили ходить на занятия без автомата, сказали, чтобы я обратился в санчасть. Я соврал, что уже обращался (показывать свой, даже на собственный взгляд, отвратительный зелено-багровый нарыв Ирине Владимировне не хотелось).

Чирей на руке, помучив меня с неделю, лопнул. Но под правой подмышкой взамен вздулось целое созвездие нарывов — сучье вымя, как его называют.

Боль была несусветная, но я крепился. Разве только не мог уснуть ночью и просиживал до подъема с дневальным...

Все на свете проходит, начало оставлять меня в покое и сучье вымя. И тут новый чирей дал ротным зубоскалам совершенно неистощимую тему. Ходить я теперь мог только широко расставляя ноги, этаким крабом-раскорякой. Дальнейшее понятно: я попытался в таком виде стать в строй, мне приказали: или стоять, как следует, или идти в санчасть. И я поплелся, хватаясь за плетни, ругаясь и почти плача. Плакать хотелось не столько от боли, сколько от мысли, как я стану демонстрировать первой нашей красавице чирей на таком месте.

Никогда я не мечтал понравиться Ирине Владимировне, но и внушать ей отвращение тоже не очень хотелось.

Доплелся до санчасти, стал, держась за аккуратный штaketничек. И не знаю сколько простоял бы, не решаясь от него оторваться.

Но на крыльцо вышла Ирина Владимировна в белом халатике:

— Вы ко мне, курсант?

Медицинский осмотр, о котором я думал с таким ужасом, прошел спокойно. Сильные руки врача делали свое дело — смазывали чирей, накладывали повязку, вкатили укол. Потом Ирина Владимировна помогла мне пройти в соседнюю комнату и, подождав, пока я улягусь на койку, сказала:

— Стыдно, сержант. Москвич, кончил, говоришь, десять классов, а ведешь себя дикарь дикарем. Так ведь и до общего заражения крови можно доплясаться. Лежи спокойно, я сообщу в роту, что тебя положила.

И потянулись мои прекрасные десять дней ничегонеделанья, ежедневных встреч с красивейшим из капитанов.

Ирина Владимировна приходила в санчасть дважды. Утром она делала перевязку, колола мне что-то. Утром же появлялся умелый и требовательный врач. А вечером заботливая женщина мерила мне температуру, садилась у изголовья, и мы разговаривали. О Москве, о стихах и опять о Москве.

Ее Москва очень отличалась от моей. Она прекрасно знала театры, в которых я побывал хорошо если по одному разу. И рассказывала мне о спектаклях и актерах — Качалове, Хмелеве, Берсеневе, Леонидове, Астангове... А я Астангова, к примеру, видел только в роли бандита Кости-Капитана из кинофильма «Заключенные». Но поддерживать разговор все-таки умел. А иногда мы просто, как с Витькой Гусевым, бродили по улицам. У Ирины Владимировны были свои маршруты, свои любимые переулки. И мы радовались, когда наши воспоминания совпадали. А если доходили до стихов, главенствовал в разговоре я.

Память у меня была превосходная. Я помнил весь

первый том Есенина, «Из шести книг» Ахматовой, уйму стихов Блока, Фета, Полонского, Тютчева...

Когда я читал, Ирина Владимировна задерживалась. В комнату проползала синеватая темнота, и капитан медицинской службы казался мне Фаиной или Кармен Блока. Свою дурацкую влюбленность я таил, как самую страшную и стыдную тайну. И крепко надеюсь, что Ирина Владимировна ни о чем не догадывалась.

Она мне приносила газеты, журналы, в которых тогда печаталось много стихов. Принесла однажды тоненькую книжку Симонова «С тобой и без тебя». Я стосковался по хорошим стихам и прочел ее взахлеб. А прочитав, подумал, что стихи офицерские, солдату война не оставляет времени на такие переливы чувств. Написано очень хорошо, но все-таки о войне можно писать и еще как-то по другому.

Последний разговор в санчасти был ясным утром молодой зимы. Свежий снег завалил село, и белый свет делал комнатку как-то больше и строже. Ирина Владимировна, осмотрев меня, мыла руки. Потом сказала:

— Завтра утром выпишу. Все, дружок, ты, слава богу, здоров.

Я спросил:

— Почему на меня эта гадость навалилась, чирьи?

Ирина Владимировна посмотрела мне прямо в глаза своими огромными глазами:

— Ваше поколение живет, растрачивая все жизненные запасы, в чудовищном напряжении физических и моральных сил. А это даром пройти не может.

ЦАРСКИЙ ПОДАРОК

Село, в котором стояли курсы, большое. Улицы с двух сторон медленно и постепенно спускались к центру, который пересекала речушка. Местные жители проживали в соседних деревнях, а в нашем селе — только мы да рота радиосвязи.

Восемнадцатилетние девчонки — радистки не жаловали курсантов. Мы были переменный состав — отучимся и уедем. А они здесь служили постоянно. И насмешливо поглядывали, как мы, в двухметровых голенищах, стуча по подмерзшей дороге подкованными ботинками, проходили мимо окон, в сорок или сто шестьдесят глоток возглашая: «Белоруссия родная, Украина золотая, наше счастье молодое мы штыками стальными отстоим...» Аккуратненькие, в подогнанных защитных платьях, кирзовых сапожках, блестящих прямо-таки довоенным гуталином, девочки были удивительно хороши. Прибавьте еще отглаженные, словно только со склада, пилотки на бойких кудрях да глаза — глубокие, зовущие и в то же время отталкивающие. Сам черт создал их специально для нашей гибели!

И любовь, которой меня по-царски одарила судьба, именно из-за своей скорой обреченности, была такой горькой и радостной, грубой и пронзительно нежной.

А началось все так. Кроме постов — они выставлялись на ночь у штаба, возле арtpарка, склада ПФС, — мы еще патрулировали на улицах. У радисток тоже было два поста: возле дома, где они стрекотали на своих рациях, и на складе. Я заступил в два часа ночи, надо было ходить до подъема

Позевывая, соря искрами махорочной сигарки, я плелся мимо домов, грузно темневших на снежных квадратах крестьянских усадеб. Мороз был легонький, ничего не скрипело и не визжало под каблуками. Месяц, только народившийся, изогнутой светлой проволочкой стоял между звездами, уже высокими, зимними.

Перешел по звонкому бревенчатому мосту через речку, поднялся пологой дорогой, вспомнил: через два дома у девочек пост. Решил навестить часового — все время быстрее пройдет.

Так и есть — стоит бравый солдатик, воротник шинели поднял, уши шапки опустил, и, неподвизанные, они болтаются как у зайца. А остальное в аккурате — блестит штык, примкнутый к карабину, пояс стягивает подсумок, через плечо — противогаз. Я вынырнул из-за угла избы.

— Стой! Кто идет?

— Свои, — ответил не останавливаясь.

— Стой! — испуганно зазвенел девчачий голос. — Стой! Девять! — пароль в ту ночь был двенадцать. — Стой, стрелять буду.

Щелкнул затвор, вгоняя патрон в ствол. Еще выстрелит, дошутишься...

— Три, — добавил число до двенадцати. — Ну, чего шумишь? Не видишь — патруль?

Девушка опустила карабин, поставила приклад стальной пластинкой затыльника на сапог, отогнула воротник шинели.

— Да ну тебя, курсант, испугал. Чего сразу не отзывался? До двенадцати считать не умеешь?

— Почему не умею? Умею. А ты из какой деревни такая образованная?

— Я не из деревни, — обиделся солдатик. Кудерьки светлые, нос чуть вздернутый, на румяных щеках, когда улыбается, по ямочке — картинка. — Я из Пензы.

— Тоже мне столица вселенной. Я из Москвы — и то не хвастаюсь. — И посоветовал: — Вынь патрон из патронника, забудешь — нечаянно бахнешь.

— Ой, спасибо, — затвор снова щелкнул, выбрасывая патрон в ладонь. — Сколько сейчас, не знаешь?

— Один момент, — я полез за часами. Зажег спичку, освещая сначала циферблат, потом лицо солдатика. — Восемь минут четвертого.

Три часа еще стоять, — вздохнула девчонка.

— Боишься?

— Привыкла. Только скучно, стоишь, стоишь, а время словно присохло, не двигается.

— Постою с тобой, чтобы время быстрее шло.

— Ты что? — забеспокоился солдатик. — На посту разговаривать не положено.

— Знаю, устав читали. Да если кто появится, — я сразу уйду, не бойся.

Помолчали. Надо было или что-то говорить, или уходить. А что, — хоть убей не знаю. И понимал: второго случая — девушке стоять три часа, никуда она уйти от меня не может — не выпадет. И решил двинуть на прямую наводку тяжелую артиллерию русской лирики.

— Хочешь, я тебе стихи почитаю? О Москве?

— Почитай, — нерешительно согласился солдатик, — только недолго.

— Конечно, недолго, — успокоил девушку. — Минут пять и — уйду...

В атаку пошел Сергей Есенин: «Я люблю этот город вязевый...», «Ты такая простая, как все...», «Пускай ты выпита другим, но мне осталось, мне осталось...»

Когда я остановился, налаживая цигарку, солдатик мой зачарованно вздохнул:

— Здорово как... Не хуже Симонова.

— Не хуже, да это Есенин!

Закрепила атаку Анна Ахматова. После этого нам оставалось только обменяться именами и договориться о встрече.

...Полтора месяца оставалось до окончания курсов, когда бешеным водоворотом закрутила меня любовь. Инна была хорошей девчонкой. Смешливая и сентиментальная, прекрасно знающая свирепую прозу жизни и все же тянувшаяся к высокому, неясному, чему и до сих пор нет четкого определения. Небольшого роста, крепко сбитая, блестя яркими голубыми глазами, она стала часто появляться в расположении нашего взвода — свободного времени у нее было больше, чем у меня. Ребята называли ее перепелкой. И впрямь в ней было что-то от этой неброской верной птицы. Я рвался к ней каждую свободную минуту. Только ох как мало было этих самых минут!

Днем можно выкроить лишь время от ужина до отбоя. Два часа. А они отводятся на все личные солдатские дела. Я перестал писать письма домой — некогда, получал «фитили» за плохую чистку оружия, за мятую-перемятую шинель, за то, что сплю на ходу... Ведь два часа, да еще почти всегда на виду, нас не устраивали. И ночью, сделав из шинели моего приятеля Вовки Лукьянова подобие человеческого тела на постели и укрыв эту шинель одеялом, я исчезал до подъема. Дневальные — свои ребята, и уговор был простой: если засечет начальство, — они ничего не знают. А если начальство не спохватится, самим шухер не поднимать.

Зима только начиналась, и мы находили приют на чужих сеновалах ближайших хуторов. Время было беспокойное, в лесах еще бродили банды, но я брал парабеллум, а со мной Инна ничего не боялась.

В эти долгие и прекрасные ночи я все же настроженным слухом разведчика ловил звуки и шорохи — погибнуть сам и погубить любимую я не хотел. Долгие и короткие, дарящие страсть и блаженное забытие ночи, пронизанные шепотом, и пьянящий запах сохнувших трав... И звезды над разодранной крышей...

Мы старательно забывали и не могли забыть, что сначала через полтора, а потом и через месяц все кончится. «Ну, зачем я тебя встретила, зачем?» — иногда горячим шепотом спрашивала Инна. Я отвечал стихами Твардовского о солдатской доле: «Ни влюбиться, ни жениться — он не может, нету прав. Ни уехать за границу от любви, как бывший граф...» Слова оставались словами, в нашей жизни они ничего не меняли.

Вспомнилось — было это почти через полгода после нашей разлуки — я еще раз встретил Инну.

Восточная Пруссия. Картофельное поле в прелых плетях ботвы. Разрывы встают фонтанами. Я — в окопе, покрытом сверху створкой амбарных ворот. Защита ненадежная, но куда денешься? И вдруг вижу: бежит по полю, испуганно пригибаясь от визжащих осколков, солдат. Пригляделся — в юбке, баба, значит. Ну, куда, дура, бежит — убьют! Выскочил из окопа и стащил ее вниз. Сразу же, конечно, узнал — Инна.

Она никак не могла перевести дыхание. Волосы похожи на паклю, перемазанное лицо, знаменитые ее ямочки в густой пыли. И радостно распахнутые глаза:

— Ты?

Я помог снять рацию, карабин, и мы, обнявшись, сели на гнилую солому.

Господи, как иступленно-бешено мы целовались, огражденные от посторонних густой завесой сна-

рядных осколков! Мы не боялись, что нас убьет. Мы только хотели, чтоб артналет длился подольше: кончится — и нам расставаться...

А потом стало тихо. Из соседних окопов слышались голоса. Инна застегнула гимнастерку, я помог надеть лямки рации. Попрощались, она побежала на чей-то КП, а я зашагал к пушкам.

О первой любви написано много. Моя первая любовь, подстегиваемая сроками разлуки, близостью смерти, была, может быть, чересчур быстрой и обнаженной. Непохожей на обычную, робко-медлительную, почти платоническую. Война определила судьбу поколения, нашу юность и нашу любовь. И от того, что она была короче, она не стала менее прекрасной. Она стала только трагичней и значимей. И если я в чем виноват, то лишь в том, что пишу об Инне так поздно.

Ребята говорили: засыплешься с Инкой, гореть тебе синим пламенем. Так вскоре и получилось.

Приближался день ее рождения. Отпраздновать его Инна решила после отбоя в комнатенке своего командира отделения, которая, как говорится, была в курсе. Меня, разумеется, тоже пригласили.

Идти в гости к девчатам с пустыми руками я не мог. Мобилизовал все ресурсы. Сходил в соседнюю деревню и сменял свои часы (на семнадцать камнях, знаменитой фирмы «Мозер») на две бутылки пшеничного первача. Выцыганил у повара банку американской тушенки и банку сосисок за штурмовой нож-финку с красивой наборной рукоятью.

Девчата тоже не ударили лицом в грязь, сами кое-чего достали, на меня не особо надеясь. И праздник получился на славу. Только вот пришел я в казарму в шестом часу утра и под хорошим газом.

Крика дневального «подъем!» я даже не услы-

шал. Когда он стал трясти меня за плечо, я понял, что встать не могу — валюсь с ног. Послав его подалее, натянул одеяло на голову.

— Мне что? Лежи,— сердито сказал дневальный.— Скоро взводный придет, он тебе полежит...

Предсказание исполнилось почти мгновенно. Голос Петровых прямо над моей головой сказал:

— А это что за принц валяется?

— Я подымал — не встает,— попытался меня выручить дневальный,— может заболел, товарищ лейтенант?

— Заболел,— подтвердил Петровых,— и сильно. Самогоном разит, как из бочки.

Он сдернул с меня одеяло и гаркнул хорошо поставленным командирским голосом:

— Встать!

— Да пошел ты знаешь куда! — взбеленился я и потянулся за ботинком, то ли собираясь одеваться, то ли пустить им в комвзвода.

— Трое суток ареста!

И Петровых сел к столу — писать записку на гауптвахту. А дневальный, глянув на меня сожалеючи, достукался, мол, дурак, надел шинель и взял из пирамиды ППШ — конвоировать арестованного.

«ГУБА»

Гауптвахта, в обиходе — «губа», не связана в армии с чем-то тяжело-позорным, как тюрьма в гражданке. На «губе», как мы помним еще из школьных учебников, Лермонтов беседовал с Белинским о судьбах литературы. Мы знаем великолепные стихи, написанные Лермонтовым и Александром Полежаевым именно на «губе». Но это — к слову...

Гауптвахта в больших гарнизонах внешне ничем

не отличается от тюрьмы. Те же камеры, те же тяжелые, окованные железом двери, в окнах — небо, расчерченное прутьями в крупную клетку. Так же угрюмо, коротко и зловеще щелкают замки и запоры. Вот только солдат знает, что проведет здесь не пять—десять лет, а три или пять, или десять дней. А это, как говорят в Одессе, «две большие разницы».

Но такие, оборудованные по последнему слову техники гауптвахты бывают, как я уже говорил, в больших гарнизонах. У нас «губа» помещалась в обычной избе: в одной половине — арестованные, в другой — охрана. И днем гоняли на работу — подвергнутых строгому аресту среди нас не было ни одного.

Мы с моим конвоиром дошли до «губы» как добрые товарищи. Здесь он снял с меня ремень и погоны. Дежурный по гауптвахте, наш же курсант, забавно окая, волжанин, что ли? — попросил меня сдать орден и документы: «До лучших времен, орел!». И спросил, позевывая: «Кухню знаешь? Ну и топай туда — картошку чистить. Там уже трое таких же ухарей вкалывают».

Сидеть в теплой кухне, кидая в ведро с водой очищенный картофель, ничуть не хуже, чем стоять среди поля на ветру, слушая как майор Соколов — в тот день по расписанию тактика — строго по БУПу, Боевому уставу пехоты, вбивает в курсантов: огневая поддержка наступающей роты или огневая поддержка роты, стоящей в обороне... Но это был, так сказать, верхний поток мыслей, в которых я привычно хорохорился.

На самом деле было не весело. Даже, если честно, очень не весело. Что с девушками? Как обошелся Инне ее день рождения? Вечером я не смогу прийти на условленное место на окраине. Значит,

побежит она во взвод узнавать, что со мной. И попадет под град шуток, пускай и незлобных, но все-таки солдатских. И в формуляр мне этот арест запишут. И на комсомольском собрании придется стоять столбом, выслушивая речи: нас де Родина послала сюда учиться, действующей армии нужны офицеры, а некоторые решили, что война кончилась, и шляются по бабам... И по улицам проходить без ремня и погон под насмешливыми взглядами, под реплики разных умников — не сладко. Но задним умом все крепки.

Вечером, когда мы укладывались спать на жестких нарах, дежурный по гауптвахте заявил:

— Завтра с утра начинаются банные дни. В пять подымаю — идете к начальнику санчасти, берете у него ключи от бани. Полвосьмого придет мыться первая смена. Чтоб баня была на ходу! — и кивнул на меня: — Ты старший...

Баня наша на краю села. Небольшая избенка специально для этого переоборудована: в печь вмазаны два железных котла, у дверей — железная бочка для холодной воды. Значит, наше дело, чтобы в бочке и котлах всегда была вода, чтобы под котлами гудело пламя. В баню идут мыться смена за сменой, потому воду надо все время добавлять, а огонь в печи поддерживать.

Добавлю для неслуживших: баня в армии каждые десять дней, и подразделениям на нее отпускается строго определенное время.

Моя отсидка совпала с продовольственным перебоем. Не знаю почему, но на курсы не привезли табаку. С точки зрения медицины табак вреден,

и то, что четыреста восемьдесят курсантов разом бросили курить,— можно приветствовать. А для курящего человека табак необходимей хлеба, недаром его обменивали на табак...

Короче говоря, когда нас на другой день подняли, первая, главная и основная мысль была: где раздобыть курево?

А где его достанешь? У своего брата, курсанта,— ни табачины, у начальства можно под разговор стрелкнуть папироску, но все начальство в пять утра спит, на улицах — ни человека... Да и вряд ли кто из офицеров уважит просьбу военнослужащих без погон и ремней — явно арестованных... А курить хотелось нестерпимо.

— Была бы осень, можно листья свернуть, покурить,— вздохнул кто-то из ребят,— а теперь зима, будь она проклята...

Я знал, что Ирина Владимировна, к которой мы шли за ключами, не курит. Но, может, у нее завалялась где-нибудь початая пачка папирос?— ведь офицерское довольствие она получает...

Мы подошли к небольшой избенке на околице села, где проживала капитан медицинской службы. В оконцах ни проблеска — спит еще и смотрит сны начальник санчасти.

Я поделился с ребятами надеждой раздобыть у врачихи хоть немного табака. Они отошли в сторонку. Я постучал костяшками пальцев в черное стекло.

Думал, буду долго тарабанить: человек спит, пока придет в себя, пока зажжет огонь, пока оденется... Но Ирина Владимировна не спала, огня зажигать и искать ключей не стала,— едва я стукнул по стеклу, дверь открылась, и женщина тихо сказала:

— Входите...

В комнате темнотища. Капитан медицинской службы, двигается бесшумно, словно плывет в густой синеве. Из-под накинутого темного халатика широкой полоской белеет подол ночной рубашки.

— Ирина Владимировна,— почему-то шепотом заторопился я,— нам бы ключи от бани.

— Сейчас, сейчас, курсант,— зачем она-то говорит шепотом, не пойму?— с вечера положила, сейчас найду...

— У вас табачку не найдется, уши опухли без курева...

— Борис? — женщина чиркнула спичкой.— Да ты никак арестованный? За что?

— Да так, за ерунду, дали трое суток,— объяснил я сразу охрипшим голосом. А осип я потому, что прямо-таки полоснула меня по глазам прелесть женщины: распущенные волосы, глубокий вырез на груди, запах тела и теплой постели, круживший голову.

А Ирина Владимировна зажгла керосиновую лампу, комната осветилась, и я увидел какого-то мужчину, который лежал на кровати и вроде спал, натянув на голову одеяло.

— Коля,— обернулась она к спящему,— да хватит тебе придуриваться, где табак?

Лежащий на кровати сбросил одеяло с головы. Я обомлел: на меня смотрели отчаянные глаза подполковника Габынина.

— Этого еще не хватало, Ирина, снабжать арестованных табаком заместителя начальника курсов. Сейчас я его поставлю по стойке «смирно» и поверну — кругом, шагом марш...

Но я не услышал в голосе подполковника обычных приказных интонаций и ждал, понимая: Ирина Владимировна меня в обиду не даст. Так и получилось.

— Ты, Коля, не в штабе, а у меня дома. И командую здесь я. Где ты держишь табак?

— В чемодане у тебя под кроватью,— сдался подполковник.

Ирина Владимировна рывком вытянула из-под кровати потрепанный коричневый чемоданчик, достала из него пачку табаку «Гвардейский», протянула мне:

— Держи. Топите баню, я выпью чаю — прийду...

С табаком в одной руке и ключами в другой я четко сделал «кругом марш» и вытеснился в сени. Капитан медицинской службы вышла за мной, положила руку мне на плечо:

— Ты, Боря, достаточно интеллигентный мальчик, чтобы понимать, что следует рассказывать и о чем надо помолчать...

— Ирина Владимировна,— взмолился я...

— Все. Иди.

За моей спиной звякнул опущенный крючок.

У меня да и у ребят дрожали руки, когда мы тут же у избы свертывали по толстенной сигарке. Сладкий маслянистый табак ударил в голову, как вино.

И вот она, стоит перед глазами, наша курсантская баня. Избенка в аккуратно нахлобученной шапчонке соломенной крыши. Протопанная сапогами тропинка спускается к речушке, берега которой беспомощно ошетинились тонким ледком. И по цепочке, от реки к бане, плывут тяжелые ведра с водой. А над трубой уже встает, втыкаясь в низкое небо, столб дыма.

Поднимается солнце. И блестит красноватым

отливом настывшее за ночь тело топора у меня в руках. И разлетаются под его ударами сосновые чурки. Ахает дерево, распадаясь на поленья.

Пахнет лесом, осенью, смолой, детством. А топор постепенно становится теплым, и липнет к пальцам, когда к нему притрагиваешься, белое лезвие.

Баня никогда не была на войне обычным омовением тела, как в мирной жизни. Раненого нестерпимо долго везут в тыл на телегах, автомашинах, поездах. И вот наконец госпиталь. И ведут тебя не в палату или столовую, а в баню. Сбросят с тебя санитары провонявшее, вшивое тряпье, завяжут над бинтами резиновую косынку и помогут отодрать от тела горячей водой и мыльной мочалкой окопную коросту. Потом, в перевязочной, срежут и сорвут корку старых бинтов,— и лежи, солдат на мягкой постели, на белой простынке. И, несмотря на боль, на то, что тошнотворно кружится голова от потери крови, что лезет неудержимо вверх столбик термометра, пребывает солдат в раю...

О бане на фронте вспоминали почтительно и мечтательно. О банях рассказывали, сравнивали городскую и свою, деревенскую, баню. Спорили,— чем лучше поддавать на каменку: ключевой водой, хлебным квасом или пивом. И что лучше пить пропарившись — чай или водку...

И вот мы, четверо арестованных, дружно делаем веселую, уважаемую народом работу. Клокочет вода в котлах, под которыми полыхают поленья. А мы вычерпываем и не можем вычерпать речку и в два топора крошим податливую древесину. И относит ветер белый парок со спины наших гимнастеров.

Через каждые два часа, сменяя друг друга, к бане подходят взводы. Сначала моются курсанты, по-

том радистки, потом из соседних деревень подошли еще какие-то подразделения.

У нас уже кончились сроки ареста, и нам вернули пояса и погоны. Но с бани не снимают. «Пока все не помоются», — сказала Ирина Владимировна.

И хотя минуло сорок лет, я отчетливо помню эти банные дни. И блеск морозного солнца на взлетающем и падающем топоре, и мозоли на перемазанных смолой ладонях, и свинцовую тяжесть ведерных дужек, к вечеру выворачивающих плечи. И неповторимое ощущение молодости, своего ладного, крепко сбитого тела, которому нипочем любая работа. И мысль, которую привычно прогоняешь: через двадцать дней передовая — и ревущая, режущая, рвущая сталь рванется к тебе сотнями пуль и осколков. И придется ли когда так вот мирно и хорошо уставать, раскалывая полешки возле бани...

ВЫПУСК

Наступил день — за спиной последние занятия, последний госэкзамен. Мы без пяти минут офицеры. Документы ушли в штаб армии, ждем приказа командующего о присвоении нам званий, на курсы уже привезли новое комсоставское обмундирование...

После завтрака приятное нечегонеделанье оборвал приказ: общее построение! Роты вывели за село, на плац, утоптаный нашими сапогами. Выстроили буквой «П», развернули шеренги лицом внутрь этой буквы. На середину вышел начальник курсов, полковник Митрофанов, высокий, молчаливый, который изредка появлялся на наших занятиях, справедливый и грозный.

— Курсанты!— гроыхнул хорошо поставленный командирский голос полковника.— Поздравляю с успешным окончанием учебы. Через пару дней вы вольетесь в славную офицерскую семью. Ура, курсанты!

Четыреста восемьдесят молодых глоток трижды прокатили над плацем «ура»!

— По приказу командующего армией,— продолжал полковник,— вы все выпускаетесь командирами стрелковых взводов...

Значит, в пехоту, подумал я. Лучше бы пошел в разведвзвод — из пехоты в разведку перейти легче. Эх, дурак... Да жизнь не автомобиль, заднего хода не имеет...

Ропот шорохом прошел по рядам и затих. Ущемленных было только три взвода — саперы, связисты и артиллеристы. Одна рота и раньше готовила командиров для пехоты, пулеметчики и разведчики в стрелковых частях без работы не останутся. А вот мы...

— Сегодня получите офицерское обмундирование,— продолжал полковник,— командирам взводов в порядке очередности отвести курсантов на вещевой склад. Разойдись!

Получать новое обмундирование всегда приятно. Вместо уже потрепанного, грязного от бесчисленных полевых занятий хэбэ, нам выдали новенькие суконные гимнастерки и галифе, вместо ботинок с длинными лентами обмоток — аккуратненькие, еще поскрипывающие сапоги. Широкие комсоставские ремни с портупеей. Пушистые теплые ушанки. Уродливые дерматиновые кобуры никто не брал, почти у каждого в вещмешке — пистолет в добротной кобуре. И только две пары офицерских погон

выдавали с напутствием: наденешь, когда присвоят звание. Да и шинели, хоть и новенькие, были обычными, солдатскими...

Почти весь день до самого вечера ушел на переобмундирование. А мысль упрямо торкалась в замкнутом кругу, ища хоть какого-то выхода. Особенно обидно было Володе Лукьянову — он до курсов исполнял обязанности командира огневого взвода, пришел сюда подучиться, — и на тебе, шагом марш в пехоту... И ничего не поделаешь — выше головы не прыгнешь. Приказ командующего армией.

— Пойдем вечером к Кудрявцеву, — предложил мне Лукьянов.

— А чем тебе поможет Павел Петрович? Отменит приказ генерал-лейтенанта? — безнадежно спросил я. — Поставим и его и себя в дурацкое положение...

— Приказа генерала он не отменит, — упрямо продолжал гнуть свое Лукьянов. — А выдать документ, что мы аттестованы на курсах командирами огневых взводов, может быть, и сумеет. Меня в дивизии знают — с такой бумагой я пойду служить на батарею.

— А я? Что мне даст эта неофициальная бумажка?

— Всякая бумага с печатью — официальная. Это раз. И второе — эта справка даст тебе все-таки шанс попасть в артиллерию. А без бумаги у тебя и шанса нет.

Короче, Володя меня уговорил, и вечером мы постучали в двери квартиры старшего преподавателя артиллерии Павла Петровича Кудрявцева.

— Войдите, — отозвался за дверью знакомый голос. И вот мы в комнате.

Подполковник в тапочках, — длинные шерстяные носки натянуты на брючины галифе, ворот гим-

настерки широко и вольно расстегнут,— колдовал у самовара.

— А, курсанты,— обрадовался Кудрявцев,— пришли попрощаться со старым придирай? Да и какие вы теперь курсанты!— поправил он сам себя,— вы уже, можно сказать, офицеры.

И широко, приглашающе повел рукой.

— Раздевайтесь, товарищи офицеры, прошу на чашку чая...

— Павел Петрович,— начал Лукьянов, когда мы допивали первую чашку.— Как вы считаете, мы могли бы командовать огневыми взводами?

— Без сомнения,— ответил Кудрявцев, настораживаясь,— отставил стакан, размял и закурил папиросу,— понял зачем мы пришли.

— И вы считаете справедливым...

— Стоп,— подполковник не дал Лукьянову договорить.— Обсуждать и критиковать приказ командующего армией ни с вами вместе, ни в одиночку я не имею ни права, ни желания. Что конкретно могу для вас сделать?

— Павел Петрович,— спросил я,— могли бы вы дать нам справку, что мы — командиры огневых взводов?

Кудрявцев помолчал. Потом, холодно блестя глазами, улыбнулся:

— Допустим. И эта справка была бы абсолютно правдивой. Для вас обоих. Но, во-первых, чтобы она стала документом, нужна печать. А она не у меня, а у подполковника Габынина. Во-вторых, удостоверения у вас будут командиров стрелковых взводов. Что вам даст такая справка?

— Такая справка даст нам шанс все-таки попасть в артиллерию,— повторил я Володиных слова.— А за печатью мы сами пойдем к Габынину. Он, говорят, мужик хороший...

— Хороший-то хороший,— усмехнулся Кудрявцев,— а поставит ли печать— не угадаешь... Ладно,— закончил он разговор,— завтра в двенадцать ноль-ноль я вас жду в штабе. И никому об этом— всему взводу я справок выдать не могу.

Назавтра ровно в одиннадцать пятьдесят пять мы докуривали возле штаба по последней сигарке. Придирчиво оглядели друг друга, обмахнули пыль с сапог специально для этого похода припасенной тряпочкой и поднялись по ступенькам.

Постучались в дверь с табличкой «Учебная часть». Кудрявцев уже нас ждал. Он сразу вышел в коридор, протянул нам вдвое сложенные бумаги.

— Напечатано на бланке и подписано мной,— сказал вполголоса.— Больше ничего не могу,— и ушел.

Мы переминались у двери заместителя начальника курсов. Идти было страшновато: там сразу— или пан или пропал... Хорошо, если пан.

Мимо прошла веселая, в темных кудряшках, кареглазая машинистка Ниночка.

— Кого ждете, мальчики? Габынина? Так топнитесь, он скоро уйдет.

Мы переглянулись, и Володька, твердо и зло сжав губы, постучался к подполковнику.

Вошли.

— Разрешите обратиться?— вытянулся я.

— Обращайся, старый знакомый,— недобро, как мне показалось, одними губами улыбнулся подполковник.

Я коротко изложил суть дела. И вот две бумажки, определяющие нашу судьбу, лежат на столе перед Габыниным.

— Так-так,— неторопливо тянет подполковник, а у нас сердца екают вслед каждому растягиваемому слову.— Так... Кудрявцев, значит, подписал. Хочет быть добрым за мой счет...

Откажет, думаю я. Сейчас порвет бумаги, кинет в корзину и — можете идти...

А Габынин поворачивается назад, щелкает замком сейфа — мы перестаем дышать — и ставит печать на наши бланки.

— Держите. И не посрамите на фронте славу русского оружия!

Не на ногах — на крыльях мы вылетаем из штаба.

На следующее утро опять общее построение. Приехал какой-то полковник из отдела кадров армии. Стоим и слушаем приказ: звание младшего лейтенанта присваивается такому-то... Звание младшего лейтенанта присваивается... И одна за другой называются четыреста восемьдесят фамилий. А потом:

— На смену погон и получение офицерских удостоверений — полчаса. Сбор, товарищи офицеры, в столовой.

Сбросить старые погоны и прикрепить новые — дело пяти минут, достать из вещмешка кобуру с парабеллумом и надеть на пояс — еще две минуты, расписаться у Петровых в получении удостоверения — еще минута, — и я бегу в роту связи. Инна выбегает ко мне, и мы стоим на улице, не зная, что делать: ни заплакать, ни расцеловаться — кругом люди.

— Ты пиши, пиши... — бесконечно повторяет Инна одно и то же. Она стискивает мне пальцы до боли, руки у нее холодные и дрожат. Мы оба знаем,

что больше не увидимся — возле столовой уже стоят машины, присланные из дивизий за новоиспеченными лейтенантами. А еду я на передовую, где надежда уцелеть равна, можно сказать, нулю.

Стоять невыносимо, горечь разлуки тупой болью ворочается внутри. И вырваться из холодных, дрожащих болезненной дрожью рук женских нет никакой возможности. Собираю всю волю, целую безжизненные, первый раз не отвечающие на поцелуй губы. Инна всхлипывает, закрывает лицо ладонями. А я, стараясь проглотить колючий ком в горле, не оглядываясь, иду к столовой.

Там все готово для прощального обеда. На столе между каждыми двумя тарелками белеет водочная бутылка. Кое-кто из ребят припас еще самогону. Официантки из офицерской столовой разносят нам сегодня еду. Начальство провозглашает тосты...

Вон из-за начальственного стола подмигивает мне Кудрявцев, — знает, наверное, что Габынин не отказал, прихлопнул печати. Грустно улыбается Ирина Владимировна. И даже строгое, всегда надменно замкнутое лицо полковника Митрофанова становится по-старчески добрым.

И наконец: «Товарищи офицеры, вас ждут машины».

Прощаюсь с начальниками, товарищами, прощаюсь с Володей Лукьяновым — он из другой дивизии. Вновь нас собирается пятнадцать человек; как и три месяца назад. Находим обшарпанную, с подранными пулями бортами полуторку нашей дивизии. Устраиваемся спиной к ветру на узких скамейках. Темнота густеет, мороз давит сильней. Машина трогается, выруливает на дорогу.

С каждым поворотом колес все ближе передовая, где бой, где смертельный риск, где попросту страшно. И где за тебя никто ничего не сделает.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ШАНС

Приехали в дивизию ночью. Возле темного приземистого здания, похожего на школу, встретил дежурный. Привел в большую комнату, где мы при свете спичек и зажигалок разглядели пятнадцать застеленных кроватей и забытую на стене карту полушарий.

Хмель из нас вышибло морозным ветром, разговаривать не хотелось. Молча разобрали постели и улеглись. Сон ко мне не шел. Я ворочался с боку на бок, пытался себе представить завтрашний день.

Как распределяют офицеров по частям, я не знал. И потому невольно вспоминалось, как разбирают по ротам и подразделениям солдат и сержантов пополнения.

Приходит в часть команда из госпиталей и медсанбатов. Выстраивают ее в две шеренги возле штаба полка. Право первого выбора всегда имеет разведка. Командир взвода ходит вдоль строя, спрашивает, кто служил в разведке и кто хочет в ней служить. Отобрав несколько человек, уводит их. Потом то же самое — в порядке строгой очередности — делают артиллеристы, саперы, связисты. Те солдаты, которые никому не поглянулись, идут в пехоту. Но мы, пятнадцать, командиры стрелковых взводов... Как нас будут отбирать? Так ни о чем и не догадавшись, незаметно заснул.

Утром пришел тот же дежурный, что нас встречал. «Умылись, побрились? Пошли в столовую. Потом с вами будет говорить комдив».

Фронтовые сто граммов чуть подняли невеселое настроение, немного приглушили внутреннюю тревогу. Я понимал, что все решится в разговоре с комдивом. Потом уже ничего не переиграешь.

И вот мы сидим в большом светлом классе.

Здесь даже парты остались, на стенах крупно напечатанные таблицы на нерусском языке, то ли на польском, то ли на немецком — черт их знает. Не успел разобраться, команда дежурного: «Товарищи офицеры!». И мы застыли возле парт.

К учительскому столу подошел чернявый майор с какими-то бумагами, кадровик, как я понял. Потом вошел грузный седой полковник.

Он кивнул нам: «Садитесь», махнул рукой дежурному — мол, уходи, больше не нужен, побряхтел, удобней устраиваясь на стуле, положил перед собой пачку «Казбека».

— Будем знакомиться...

Это, разумеется, не означало, что мы и он станем повествовать друг другу о себе. В армии все определено четко: комдив будет спрашивать, мы отвечать.

Кадровик майор развернул бумагу, где мы были записаны строго по алфавиту.

— Командир стрелкового взвода младший лейтенант Авдеев...

Громыкнув крышкой парты, встал Авдеев. Два-три вопроса: откуда родом, где служил до курсов? Просьбы? Нет. В стрелковую роту полка Артемчука...

И пошло. Три офицера прошли за Авдеевым без сучка и задоринки. Так и должно быть: все ребята из стрелковой и пулеметной рот, артиллеристом был только я...

Приближалась моя очередь. И тут начался сбой, от которого тревожно застучало сердце.

— Командир стрелкового взвода младший лейтенант Барышев стал излагать свою просьбу:

— Я до курсов служил на продовольственно-фуражном складе в полку Попова. Был оттуда послан на учебу, как один из лучших младших коман-

диров. Надеюсь, что теперь, когда я стал офицером, мои знания и опыт могут быть использованы на интендантской службе. Именно там я принесу наибольшую пользу...

Пока Барышев говорил, я не спускал глаз с комдива. Его широкое лицо начало багроветь, старый сабельный шрам, рассекавший левую щеку от виска до подбородка, сначала посинел, потом стал наливаться белизной.

— Я вас понял,— сказал комдив.— Если не вы будете вешать солдатскую крупу и сало, не вы будете считать старые подштанники, дивизия начнет помирать с голоду и не сможет воевать. Ничего, как-нибудь обойдемся. В стрелковую роту,— бросил он майору. Тот послушно наклонил голову.

А Барышев все не понимал, что своего теплого и уютного склада больше не увидит. Он стоял столбом, и только, когда над партой встал младший лейтенант Бердников, сел, вытирая рукавом обильный пот.

Мне явно не везло. Бердников тоже обратился с просьбой к комдиву. Он до курсов был не интендантом, а старшим писарем. И потому стал доказывать, что теперь, зная картографию и топографию, сможет стать идеальным работником при любом штабе.

— Понимаю,— язвительно сказал полковник,— без ваших стратегических талантов,— он даже почтительно поклонился,— дивизия может вместо Берлина повернуть на Иркутск... В стрелковую роту.

Бердников сел. Следующим был я. Но комдиву, видимо, уже осточертели просьбы желающих удобно и безопасно устроиться, и он сказал:

— Вот что, товарищи офицеры. Вас послали во время боев учиться не для того, чтобы вы потом

ловчили и химичили,— ноздри горбатого носа яростно вздрагивали,— ждали, что вернутся в дивизию боевые командиры, а не бумагомараки. Ясно?

Мы молчали. Следующим должны вызвать меня, следующая просьба моя. А комдив, багровый от гнева, пытит толстой казбечиной и зло поблескивает глазами. Майор называет мою фамилию. Не дожидаясь, пока полковник задаст дежурные вопросы, начинаю:

— На курсы послан из артиллерийской батареи полка Попова. Командовал отделением разведки. На тепленькое место не прошусь. Хочу вернуться в артиллерию командиром огневого взвода.

Дал залп и даже зажмурился со страха: сейчас меня дивизионный приласкает... Но полковник вроде даже повеселел:

— Как же я тебя пошлю командиром огневого, если ты — пехота. Да ты шаг угломера с картошкой спутаешь, буссоли от банника не отличишь.

— Никак нет, отличу.

— Ну, может, и отличишь, коли служил в артиллерийской разведке,— соглашается полковник.— Но не имею права назначить тебя в артиллерию, если ты аттестован стрелковым командиром.

Он косится на майора, тот согласно кивает.

Вот он, лукьяновский шанс!

— Никак нет, нас готовили огневиками. Разрешите предъявить документ.

Не дожидаясь разрешения, срываюсь с места, подхожу к комдиву и предъявляю справку, подписанную подполковником Кудрявцевым и заверенную печатью. Там, я знаю, черным по белому — выпущен и аттестован командиром огневого взвода.

Полковник прочитывает бланк, передает его майору. Потом спрашивает:

— В полку Попова артиллерийские офицеры нужны?

— Сейчас не хватает одного взводного в противотанковой батарее.

— Ну, и запиши туда младшего лейтенанта.

Так я стал полноправным артиллерийским офицером. И хотя до курсов служил не в противотанковой капитана Гурина, а в батарее 76-миллиметровых пушек, спорить не приходилось. Дальнейшее было просто: пообедаем в столовой, и разведут нас связные по подразделениям. Все ребята вроде довольны, только интендант и писарь выделялись трагично насупленными лицами. На них насмешливо косились строевые солдаты и офицеры.



*Смелей смотрите прошлому в лицо.
Обожженно, безжалостно, кроваво
лицо войны.*

И все-таки смотрите.

*И не верьте,
когда вам говорят,
что, мол, не надо
напрасно мучить память,
надо только
в грядущее глядеть.*

Часть третья

СОРОК ПЯТЫЙ

НОВЫЙ ГОД

Дивизия держала оборону по берегу реки Нарев. Заснеженный ледяной простор реки пустынен. Он замер под прицелом пулеметных и автоматных стволов, глядящих на него с западного и восточного берегов. Немцы окопались, как всегда, на командных высотах. Шесть линий траншей между колючими заборами проволоки, да еще кольца спирали Бруно в рост человека, да черные пятна дотов... И все это густо нашпиговано минами. Их, разумеется, не видишь, но наши саперы знают: здесь полно и противотанковых, похожих на колесо, и противопехотных, ожидающих, когда на них ступишь, чтобы перебить ногу ниже колена, и прыгающих — лягушек, рвущихся возле головы и грудной клетки... А за всем этим готические шпили костелов города Макова.

Гитлеровцы понимают, что сегодня их линия обороны — последний засов на дверях Германии, и будут драться на этих рубежах до последнего патрона.

Наш полк во втором эшелоне. Это значит, что проживаем мы километрах в четырех от передовой. В сосновом лесу удобные землянки, где мы спим почти целый день. А ночью ломami и лопатами

строим огневые и блиндажи на переднем крае. Строим добротню, хотя, если прорыв получится, находиться в них придется, пожалуй, всего несколько часов.

Я команду огневым взводом противотанковой батареи. У меня две 45-миллиметровые пушки, которые в бою, как сказано в уставе, должны сопровождать пехоту «огнем и колесами». Или, другими словами, наступать в боевых порядках стрелковой цепи, не отставая от нее. Пехота, бывает, и отступает, а пушка, хоть и считается легкой, весит пятьсот шестьдесят килограммов, ни за спину, ни на грудь, как ППШ, ее не повесишь. А что полагается артиллеристу, если он бросит оружие, догадаться нетрудно.

Два командира моих орудий, старшина Костылев и сержант Тараканов, опытные, обстрелянные младшие командиры. Мои офицерские знания, полученные на курсах, им ни к чему, они и так все умеют. И моя задача не поучать, а не мешать. Я хожу вместе со взводом на ночную работу, наравне с солдатами вкалываю на будущих огневых.

Чувствую: мои подчиненные ко мне присматриваются. Что за фрукт их нынешний командир? И то, что я не рвусь распоряжаться, а работаю рядом с ними лопатой, по-моему, ребятам нравится. И мои офицерские папиросы мы дружно выкуриваем за первый же час ночной работы, а потом переходим на солдатскую махорку, к которой я давно привык за три года службы.

Командира батареи капитана Гурина и второго комвзвода Михаила Яковлева я вижу редко. Гурин показал места будущих огневых, дал десять дней сроку и больше на моем участке не появлялся. Был, очевидно, уверен не столько в младшем лей-

тенанте, сколько в своих командирах орудий. А Миша Яковлев вкалывает со взводом на своих огневых.

Наконец работа подходит к завершению. Выкопали две площадки для кругового обстрела, укрытия для пушек, ровики для снарядов, блиндажи. Хозвзвод привез на передовую бревна, и мы в три наката укрыли землянки, одним накатом прикрыли ровики и окопы для пушек. Потом все закидали снегом — замаскировали. И еще две ночи возили на огневые снаряды.

— Добре,— сказал Гурин, когда я доложил о готовности второго взвода,— Яковлев тоже закончил. Завтра пойдем на рекогносцировку.

Первый раз спали мы ночью в своих блиндажах, в лесу, далеко от передовой. И вышли втроем незадолго до рассвета. На нашем краю неба звезды начинали бледнеть, над немцами они еще сияли в полную силу. Гурин неторопливо, таким колобком (он небольшого роста, коренастый) катился впереди. Снег визжал у него под сапогами. К огневым пришли еще затемно. Привычно, с раздражающей методичностью взлетали из немецких траншей белые осветительные ракеты. Изредка проходили над рекой пулеметные трассы — наши и фрицевские. Иногда они скрещивались, и тогда, казалось, пули заблудились и шарахаются то в одну, то в другую сторону.

Мы спустились в стылую темноту блиндажа возле моей огневой. Гурин обежал его лучом фонарика.

— Хозяева,— недовольно сказал комбат, это явно относилось ко мне,— хоть бы соломы постелили или ящик из-под снарядов поставили.

— Так, товарищ капитан,— попытался я оправдаться...

— Ладно, — оборвал комбат, — покурим стоя. Светает...

Медленно всходило солнце. Багровый диск поднялся из-за спины и высветил грозно молчащую немецкую оборону. В бинокль хорошо видны две первые линии траншей и кажущиеся отсюда соломинками колья, на которых крепится колючая проволока; вспыхивает блескучим стеклышком попавшая в солнечный луч вражеская стереотруба.

— Смотрите, ребята, на местности, отмечайте на картах ваши цели при артподготовке. По три на взвод. У тебя, — это мне, — два пулеметных гнезда и наблюдательный пункт. Ты, Яковлев, возьмишь три пулеметных гнезда...

Мы отыскивали приметные ориентиры, смерили углы от них до цели, прикинули расстояние.

— На артподготовку, — продолжал комбат, — дают по сто двадцать снарядов на орудие. Но, сами знаете, цели надо поразить в первые пять-шесть минут, потом над фрицами такой дым и пыль будут — ни черта не разглядишь.

Солнце алым аэростатом повисло в бледном небе. В глубине вражеской обороны, за окопами и проволокой, оживал город. Уползали ввысь сизые дымы — топили в Макове печи, блестили золотые кресты костелов.

— Интересно, — подумал вслух Яковлев, — в городе только фрицы живут или там и паненки остались?

— Скоро сами увидим, — улыбнулся комбат, — если, конечно, дойдем живыми.

Капитан сплюнул в снег изжеванный мундштук погасшей папиросы, зевнул:

— Да чего гадать — это уж как кому повезет. А вот о Новом годе подумать надо. Сегодня ведь уже двадцать шестое декабря...

...Тысяча девятьсот сорок первый год я встречал еще дома. О войне тогда никто не говорил — с Гитлером заключен и подписан договор.

Обсуждали, в какой институт я поступлю после школы. Я хотел в литературный, отец и мама настаивали на чем-нибудь более основательном — на медицинском или техническом вузе. Мне ставили в пример доктора Чехова и путейца Гарина-Михайловского. Я защищался Есениным и Маяковским, которые вообще никаких институтов не кончали. Спорили мы спокойно — до окончания школы было еще полгода. Переливалась серебром высокая елка, на столе блестели в застывшем озере желе куски фаршированного судака, маслянисто темнели шпроты, из кухни тянуло ароматом жареного гуся.

Теперь наша московская квартира брошена, бог знает кто в ней живет. Отец и мать работают в Омске на военном заводе, бабушка лежит на омском кладбище.

Тысяча девятьсот сорок второй год я встретил в военных лагерях. Бригада клубной самодеятельности — я читал свои стихи — поехала выступать на какой-то завод. После концерта нас пригласили на ужин.

Помню комнату с длинным, накрытым простынями столом. На нем тарелки с винегретом, багровым от свеклы, и бутылки, синеющие от свекольного самогона. И женщин, одних только женщин и в зрительном зале, и на этом «банкете». Я сидел между двумя красавицами, которые нежно за мной ухаживали, накладывали на тарелку пылающий винегрет, наливали в стакан голубой самогон. А я, мальчишка, не оправдал ни надежд, ни ожиданий. Хватив два стакана вонючего огненного зелья, я позорно уснул тут же за столом. И меня

не могли пробудиться, даже когда куранты били двенадцать.

Встречу тысяча девятьсот сорок третьего и сорок четвертого годов не запомнил. Как ни напрягаю память — ничего, черная дыра. И вот встреча сорок пятого...

Тридцать первого декабря на передовой, слава богу, тихо. Повар готовит какой-то необыкновенный ужин — старшина сверх положенного раздобыл где-то половину убитой кобылы. И теперь Павел Евграфович Медведев, до войны шеф-повар ресторана в Орле, сочиняет из русской кобылы и американской тушенки какой-то небывалый гуляш по-польски... Офицеры званы на парадный ужин в двадцать два ноль-ноль к комбату. Мы с Яковлевым жертвуем ради такого дня один индивидуальный пакет и пришиваем ослепительные подворотнички. Парикмахеры-самоучки в землянках стригут и бреют солдатам вихрастые головы и железную щетину. Я пристраиваюсь к очереди в своем взводе и наконец сажусь на табуретку к Алеше Борисову, наводчику третьего орудия. Щелкая у меня под ухом ножницами, он спрашивает:

— Как прикажете постричь? Под бокс, под полечку или под горшок?

— Давай под полечку, — отвечаю. И наводчик начинает ходить вокруг табурета, — что он делает с моей головой, я не вижу, — приговаривая:

— Один момент, сделаем лейтенанта — хоть к генералу на бал...

Потом смахивает грязным полотенцем с моей гимнастерки клочья волос.

— Бриться будете?

— Валяй.

Порхает по лицу бритва, скрипит щетина под лезвием.

— Одеколону, простите, нету,— заканчивает работу Борисов.— Во-первых, не выдавали, во-вторых, который у немцев достали—давно кончился.

Солдаты смеются. Рассматриваю себя в маленькое зеркальце: вполне нормально побрился и постриг наводчик. На самом деле—хоть на бал к генералу. Иду в землянку первого взвода. Яковлев уже наводит лоск на сапоги.

— Пойдем?

Яковлев смотрит на часы:

— До срока еще десять минут. Пойдем как джентльмены, секунда в секунду.

Ровно в двадцать два спускаемся в землянку комбата. Алексей, тощий пучеглазый мужик лет сорока, ординарец Гурина, уже все подготовил к встрече Нового года. На столе горят две плошки—немецкие свечи. Тут же сверкают бледно-розовым вскрытые консервы «лосось в собственном соку» (наш офицерский доппаек), белеет жиром тушенка, даже на глаз приятно тяжелы две трофейные фляги. Потолок Алексей затянул плащпалаткой, чтобы земляная труха не падала в миски. В углу сиротливо стоит елочка, украсить ее нечем, но, отогревшись у теплой печки, она распушила ветки, оцетинилась мягкими иголками и одуряюще пахнет.

— Снимайте шинели, товарищи офицеры,— шутиливо-торжественно говорит комбат,— прошу к столу.

И вот мы трое сидим за праздничным столом. Капитан Саша Гурин, комбайнер из-под Тамбова, лейтенант Миша Яковлев, счетовод из Владимира, и я, младший лейтенант, вчерашний московский школьник. За спиной у нас версты военных дорог: на гимнастерке Гурина ордена Красного Знамени и Красной Звезды, у меня с Яковлевым—по Крас-

ной Звезде. Впереди — тоже бои. И в этот вечер мы не знаем, кто из нас доживет до конца войны. А ведь мир уже так близок. И наверное, поэтому комбат, разлив водку по граненым стаканам, говорит:

— Ну, давайте выпьем, чтобы встретиться после войны, — и, уловив на моем лице недоверие к такой несбыточной надежде, зло блеснул глазами:

— И все-таки выпьем за это.

Чокнулись, выпили. Саша Гурин повеселел и по-добрел. Наскоро закусив, он задымил беломоринной.

— Чего-то я, ребята, как почуял, что скоро войне конец, людей жалеть начал. Думаю, прошел мужик всю войну, а на последних километрах загнется. Если б мог, право слово, каждого батарейца собой бы загородил. Вот Алешку взял в ординарцы — он инженер, в расчете у пушки его дважды два хлопнут, со мной будет целее. Да и вы, ребята... Будем рвать оборону на Нареве, брать Маков. Кто возьмет, а кто и навек в польской земле останется...

Обычно комбат жесткий, властный, скорый на решения и разносы. А тут его словно подменили... Плохая примета — начнешь всех жалеть — быстрее потеряешь... Гурин догадывается о наших мыслях, мрачнеет:

— Плохая примета, знаю, перед боем сопливиться. Давайте, братва, по второй.

Выпили. Алексей вносит огромную сковороду, на которой скворчит картошка, перемешанная с кусками сала.

Потом отмечаем по часам двадцать четыре ноль-ноль. Пьем за Новый год, сорок пятый, за конец войны, за то, чтобы дома не журились, чтобы довоевать... Легчают фляги, тяжелеем мы.

Выхожу из блиндажа, курю на морозе. Над го-

ловой стоят звезды уже сорок пятого года. Они были такими же при Петре Первом и не станут тусклей, когда никого из нас, сегодняшних, не будет. И перед Ледовой битвой, и перед Полтавским боем, и перед Бородино солдаты так же смотрели на звезды, как я смотрю сегодня. И никто не мог по ним ничего угадать.

ПРОРЫВ

Ночью нас подняли по тревоге. На часах четыре. В темноте стук подков, лязг лафетов о тягловые крюки передков, на которые цепляют орудия, голос Гурина: «Забирайте с собой все необходимое — больше сюда не вернемся».

Мы бросали обжитое место, которое уже успело стать «домом» батареи. Бросали теплые землянки с немудреным уютом, сделанные солдатскими руками скамейки, столики, ружейные пирамиды, нары, плотно укрытые густым еловым лапником. Горячие железные печки грузили на орудийные передки. Шипел в снегу выброшенный из топок уголь, густо дымил, затоптанный сапогами. И ярко алел огонь в походной кухне Медведева — завтрак он привезет нам уже на передовую...

И щемила душу знакомая, — но никогда к ней не привыкнешь, — тревога. Сегодня — прорыв. А что рвать оборону на Нареве нелегко, все понимали. Потому и резче звучали команды, зло и сухо голоса. Комбат не торопил, но когда Яковлев, а затем я доложили о готовности огневых взводов, сдвинул обшлаг левого рукава шинели, посмотрел на часы. Очевидно, мы уложились в нормативы, поэтому Гурин ничего не сказал, сел на передок первой пушки, махнул рукой: «За мной!», и батарея поехала...

По всей линии наших войск шло затаенное движение. К передовой тянулись пехотные колонны, на позиции выдвигались тяжелые орудия, пробегали связисты с катушками провода.

Мы развернули пушки на огневых. С укрепленными сошниками, хищно раздвинув станины, опустив вытянутые к врагу стволы, они, казалось, изготовились для прыжка. Я посмотрел на часы: было пять семнадцать... Темно, цели до рассвета наводчикам и командирам орудий не покажешь. Солдаты сидели в блиндаже, опустившись на корточки возле земляных стенок, курили.

Сверху, с огневой, раздался голос Гурина: «Комвзвода на выход!» Вылез. Рядом с комбатом — группа солдат.

— Вот, — довольным голосом сказал капитан, — привел тебе восемь гавриков пушки катить. Это из роты, которую твой взвод поддерживает.

Когда Костылев и Тараканов развели людей по орудиям, капитан добавил:

— Батарея сопровождает штрафной батальон. Кадры эти оттуда. — И увидев что я, не успев как следует затоптать папиросу, закуриваю другую, — усмехнулся:

— Волнуешься? Я сам не первый день замужем, а тоже волнуясь... Значит так: начало артподготовки в восемь тридцать. Сигнал сыграют «катыши».

Он посмотрел на часы.

— Ну, чего Медведев со старшиной копаются? Перед боем накормить людей надо.

Мы молчали. Мне почудился еле слышный стук копыт. Гурин обернулся, вглядываясь.

— Наши едут, — сказал уверенно. И крикнул в блиндаж: — Готовь котелки, славяне, кухня на горизонте...

Теперь я увидел двух черных в темноте коней и круглую бочку походной кухни. Солдаты, звякая котелками, вылезали из блиндажа.

Как всегда перед наступлением, еда была обильная и вкусная. Перловый суп с тушенкой и макароны с мясом. Сверх того НЗ — по двести граммов сала и копченой колбасы. Ну и само собой — водка и табак, по две пачки моршанской махорки.

Неприкосновенный запас тут же съели. Чудаков, которые берегли бы НЗ перед боем, я за всю войну не встречал ни разу. Понемногу начало светать. И как только стало можно разглядеть цели, я повел наводчиков и командиров орудий к пушкам.

Сам навел перекрестие оптических прицелов поочередно на каждую цель. Дал посмотреть наводчикам. Еще раз промерили углы между немецкими пулеметами, чтобы сразу же можно было доворачивать пушки. Вроде все. До артподготовки оставалось восемнадцать минут.

Тянулись они долго, наверное, и потому, что я каждую минуту поглядывал на часы. Солдаты вроде никуда не торопились, но по скупым и отрывистым разговорам можно понять — тоже напряглись, как курок на взводе. Наконец восемь двадцать пять.

— Расчеты по местам! По пулемету... Взрыватель осколочный... Прицел... О готовности доложить.

Один за другим голоса Тараканова и Костылева:
— Четвертое готово! Третье готово!

Секунды ожидания. В тылу прогрехотали «катюши» — трассы реактивных снарядов прошли над нами.

— Огонь!

И началось. Мы успели расстрелять десяток снарядов по каждой цели. Поразили или нет — бог знает. Артиллерийские стволы, а их по сто на каждый километр прорыва, подняли над фашистскими траншеями дымную гриву разрывов, перемешанную с землей. Заволокло всю немецкую передовую, прицельный огонь вести невозможно. Прибавил по два деления прицела и шлю снаряд за снарядом в черно-желтую стену. Вспыхивают в ней секундные вспышки разрывов, но мои или чужие — не разберешь. Взвод бьет беглым огнем...

У меня задание — выпустить в артподготовку по сто двадцать снарядов на пушку. Доворачиваю орудия влево и вправо и бью. Стволы раскаляются. Трескается на них масляная краска, потом зеленые чешуйки начинают коробиться, дымиться, сгорают...

— Доложить об откатке! — кричу, боясь, что стволы может сорвать силой отдачи.

— Откат нормальный! — перекрикивают пушки командиры орудий.

— Огонь!

Вижу, как пехота выходит из своих окопов, бегом спускается к Нареву, накапливается для броска под немецким берегом. Фрицы пока не стреляют — мы не даем им поднять головы.

Но вот стихают орудия. Пехота идет в атаку. И немецкая передовая, которую целый час перепыхивали сотни снарядов, — казалось, там все выжжено и выбито, — оживает. Вижу перед «своей» ротой два пулемета и тороплюсь заткнуть их огненную глотку.

А бой уже идет в первой фашистской траншее...

Что делать дальше? Вести прицельный огонь со старых огневых не могу — отсюда плохо вижу. Выдвигаться вперед — нет приказа. Где комбат, черт его раздери?! И стоять без толку не могу.

— Расчеты, на колеса! Взвод, за мной!

Выкатили пушки с огневых. Над открытым полем посвистывают пули, взвизгивают осколки. Бегом докатили орудия до Нарева, развернули. Ага, вот они пулеметы, в третьей траншее.

— Наводчики, заряжающие, огонь! Остальные бегом на старые огневые за снарядами!

Бьем. Фрицевские пулеметы, поперхнувшись, замолкают. У меня, слава богу, все пока целы.

Не успел так подумать, Федя Гологутенко, наводчик четвертой пушки— в армии три месяца, бой у него первый,— поднялся над броневым щитом орудия, вглядываясь расширенными волнением глазами в бой на том берегу. Хлопнула мина справа и чуть впереди пушки. И, вскрикнув, зажал Федор лицо руками.

Тараканов, растяпа, выматерившись, достал индивидуальный пакет, силой отвел ладони от лица своего наводчика. И я чуть не ахнул: глаза выбиты, какие-то сгустки текут из-под посеченных мелкими осколками век.

— Что у меня с глазами? Почему не вижу? — спрашивает Федор.

— Ранило тебя,— говорил Тараканов, обматывая наводчику бинтом глаза.— В санбат сейчас тебя отправим, там врачи разберутся...— И замковому: — Веди его...

Счет потерям сегодняшнего дня только начался. С того берега потянулись телеги с ранеными. Бой отодвинулся к подступам Макова. Надо туда ехать. Я послал солдата за нашими лошадьми.

А с той стороны, прямо на изволок к пушкам, поднималась телега. Солдат, который шел с вожжами у ее передка, показался знакомым. Пока я вглядывался, ребята узнали:

— Алешка, комбатов ординарец... Кого он везет?

Лошадь остановилась у пушки. Глянув на лицо Алексея, по которому как-то отрешенно и безостановочно текли слезы, я понял, шагнул к телеге. Саша Гурин лежал на спине. Живот у него плотно обмотан бинтами, на белую гладь выплывают алые пятна.

— Вот,— сказал Саша, трудно выговаривая слова,— очередь поперек брюха. Отвоевался.— Он улыбнулся странно медленно синими губами, на которых вспухали красные пузырьки крови:— Не говори, сам знаю. Оставайся пока за меня. Поехали, Алеша.

Телега заскрипела колесами по снегу. Темнело. Из-за старых огневых на рысях вырвались две наши артиллерийские упряжки.

КАК Я СТАЛ КОМБАТОМ

Стояли мы в Макове часа два. Обычная неразбериха только что взятого города. Подтягиваются тылы. Солдаты разбили тяжелые ворота немецкого продовольственного склада, и жители торопливо волокут по домам крупу и муку. Связисты тянут провода — в город переведут штабы. Штрафники ушли из батареи в свое подразделение...

Что делать дальше, я не знал. Так и стояли с пушками на центральной площади. Здесь нас разыскал старшина. Медведев разливал суп, раздавал хлеб и сахар, а старшина, видя мою растерянность, посоветовал:

— Пока нового комбата не назначат, держись ближайшей роты. Она вон, прямо за городом, оборону занимает. До утра не тронемся — ясно. Давай прямо сейчас отвезем туда пушки, к утру я твоих

лошадей пришло. А то куда ты их среди ночи поставишь? Еще побьют, на чем утром поедешь?

За городом непонятно для чего тянулась траншея: то ли немцы собирались здесь обороняться, то ли держали резервные войска. Окопы заняла наша пехота. Я поставил пушки, выгрузил с передков снаряды. Старшина с кухней и нашими лошадьми уехал. Солдаты, вымотанные боем, кимарили, подняв воротники шинелей, глубоко в рукава засунув руки. Задремал и я, приткнувшись к углу недорытой пулеметной площадки.

Впереди врывались в темноту ночи ракеты, проходили пулеметные трассы. Там фрицы. Ну, да ладно, до утра не полезут.

И все-таки поспать не пришлось. Какой-то солдат шел по траншее, спрашивая:

— Артиллеристы, где тут командир? Командир где, пушкари?

— Ну, я командир.

— Давайте к телефону,— обрадовался солдат.— А то комроты сказал — ищи командира у пушкарей, и я тут шарахаюсь...

Я шел по траншее за солдатом, тщетно ломая голову: какому начальнику я мог потребоваться среди ночи?

В землянке командира роты тепло и уютно: топились в углу круглая немецкая печка, светло горела свеча. А старлейт, увидев меня, кивнул телефонисту:

— Соедини,— и в трубку:— Товарищ Первый, артиллерийского командира нашли... Передаю.

«Первый» по телефонному коду — командир полка. Я взял трубку.

— Слушаю, товарищ Первый...

— Гурин, где ты пропадаешь, почему не докладываешь? Почему я тебя разыскивать должен?

— Гурин ранен,— сказал я и зачем-то добавил:— Тяжело ранен...

— А с кем я говорю? — спросил командир полка.

— Командир второго огневого взвода...

— Так,— сказала трубка и замолчала. Потом комполка, очевидно, что-то решил.

— Слушай, комвзвода, у тебя пушки целы, бронбойные снаряды есть?

— Так точно.

— Достань карту. Достал? Смотри: ты сейчас на левом фланге полка. Правый фланг примыкает к дороге. Видишь?

— Так точно, вижу.

— От дороги доносят, что слышат гул моторов. Не исключено, фрицы там накапливают танки, чтобы утром попытаться выбить нас из Макова. Приказываю: твоему взводу перебазироваться к дороге, прикрыть фланг. Понятно?

— Понятно, товарищ Первый.

— Приедешь на новое место — немедленно доложи. У меня все.

До правого фланга по прямой километра четыре. Были бы здесь мои лошади — десять минут езды. Черт бы побрал старшину с его советами! И мне наука на всю жизнь: принимай всегда решения сам, тогда меньше шансов, что ошибешься.

Еще раз прикинул по карте: если ехать по-нашим окопам, будет, пожалуй, километров пять-шесть. Если перед ними — чуть меньше четырех. Правда, тогда между мной и немцами — никого... Но ведь тащить пушки придется на себе, каждый метр дорог.

Поднял взвод. Объяснил, куда, как и почему поедет. Приказал погрузить на орудия по четыре

ящика подкалиберных снарядов. И — расчеты, на колеса!

Пушку хорошо катить по ровной дороге. Тогда уравновесь ствол, чтобы конец лафета не так давил на руки, придай пушке инерцию, и она, как говорится, сама идет. А нам пришлось двигаться по пахоте. Колесо переваливает борозду, попадает в ямку, лафет резко дергается в сторону и валит людей. Десять метров пройди — и опять все сначала. Хрипя, задыхаясь, матерясь, мы тянули орудия.

Путь казался бесконечным. Солдаты вымотались окончательно. Все труднее их было подымать, когда сваленные с ног очередными ударами лафета, они лежали на земле.

И мне было не легче: я тащил пушку, валило меня лафетом с ног, да еще я глядел на часы, понимая, что дойти надо до рассвета. А немецкие ракеты взлетали все чаще, словно фрицы следили за движением взвода.

Наконец уже почти дошли. Метров двести осталось до нашей пехоты, что окопалась возле дороги. Утро мы обогнали, до своих рукой подать. Я разрешил сделать передышку перед последним броском.

Солдаты мои лежат возле пушек, дыша тяжело и прерывисто, как загнанные лошади. Я сижу на лафете, пытаюсь наладить сорванное дыхание, а опыт разведчика, знающего что такое нейтральная полоса, заставляет меня машинально прислушиваться и приглядываться.

И вдруг замечаю: мы, слава богу, в ложбинке, — мелькнула на фоне неба одна тень, другая. А от нашей пушки и, кажется, до Берлина — ни одного русского солдата... Сейчас немецкие разведчики возьмут нас в ножи!

— Тревога! — кричу. — Автоматы к бою! Фрицевская разведка!

Но что толку? Солдаты мои в разведке не служили. Сбившись в две кучки возле пушек, они, как гуси, вертят головами, не понимая, что решают секунды.

Вырываю парабеллум из кобуры, выпускаю обойму по подбирающимся фрицам. Разведчики сразу меняют тактику — четыре или пять шмайссеров открывают огонь, группа захвата начинает заходить сбоку... А мои ребята попадали под дождем секущего свинца и лежат... Хватаю у кого-то ППШ. Стараюсь, если не отсечь, то хоть задержать разведку.

— Костылев! Тараканов! Так вашу и так! — ору во всю глотку. — Огонь! Огонь!

Ага, командиры орудий наконец поняли, что может сейчас произойти. Два автомата брызнули огнем. Вот ударил рядом со мной из ППШ наводчик третьего — Алешка Борисов.

— Тараканов! — командую, — орудие бегом к нашей траншее. Проси помощи у пехоты. Третий расчет, огонь, огонь из личного оружия!

Одна пушка начинает пятиться в темноту. Ребята Костылева дружно отстреливаются. Немцы прекращают огонь — поняли, что не выгорело и откапываются. Когда из наших окопов вместе с сержантом Таракановым выбегает стрелковый взвод, в нейтральной полосе уже тихо. Пехотинцы помогают докатить до своей траншеи пушку Костылева.

Дорога, о которой говорил командир полка, вот она, метров за пятьдесят. Выбираю огневые, приказываю командирам орудий окопаться. А сам иду искать телефон.

Пехотинцы подсказывают, где КП роты. Беру телефонную трубку, докладываю Первому, что его приказание выполнено: пушки готовы вести бой, прикрывая дорогу.

— Хорошо,— говорит командир полка.— Как твоя фамилия, комвзвода?— Он молчит, то ли вспоминает, то ли записывает. Потом говорит: — Так вот, будьешь с этого часа командовать батареей. Понятно?

— Так точно,— отвечаю, хотя мне многое непонятно. Лейтенант Яковлев старше меня и по возрасту и по званию. Как командовать батареей, я не знаю. Ясно мне одно: когда разыщет нас старшина, надо будет узнать, где взвод Яковлева, и свести батарею воедино. А потом то ли просить указаний на дальнейшее у комполка, то ли он даст их сам, не дожидаясь моих вопросов.

На душе у меня сумятица, и я даже не рад свалившемуся повышению. За спиной капитана Гурина было куда спокойнее. Иду на огневые нашего взвода и почему-то не объявляю солдатам о своем назначении.

А расчетам, по-моему, на это наплевать. Вырыты площадки для стрельбы, пушки приведены в боевую готовность, стволы нацелены на дорогу. Начинает светать. И солдаты матерят старшину и Медведева, которые не везут завтрака: «Пехота уже жрет, а наши задницу чешут...»

Я молчу. Полчаса назад я, как все, с легкой душой ругал бы старшину, а теперь понимаю: командир батареи обязан был разыскать его и сообщить, куда перебросили ночью орудия. Но командир батареи — я, стало быть, я виноват.

ГРАНИЦА

Невысокий холм на ничем не примечательном поле. Снег. Размятая гораздо шире обочин дорога. Короче, обычный след торопящейся армии. Тысячу

раз видел такое. А по целине, разбрызгивая копытами белую пелену, скачет адъютант командира полка. Я уже ждал от него привычное: комполка приказал — батарею выдвинуться и... Но лейтенант, подскакав, сорвал с себя ушанку и, вытирая шапкой потное лицо, закричал радостно:

— Почему трезвые, славяне? Границу проходим!

Я схватился за планшетку. А на карте действительно — красная линия границы и над россыпью населенных пунктов, над линиями и пунктирами дорог крупно: «Германия». Такое да не отметить!

Батарея свернула с дороги. Все, что было в вещмешках — хлеб, сухари, сало, консервы, — сложили на лафет, накрытый для такого случая, как скактертью, плащ-палаткой. Ординарец мой, Волков, отцепил от пояса и положил на плащ-палатку флагу. А потом, поевшись под моим требовательным взглядом, достал из вещмешка другую. И развел руками: все мол...

Водку разлили по кружкам. И командирам орудий, и наводчикам, и старикам ездовым досталось понемногу — граммов по семьдесят. Тостов не было. Слишком долго мы ждали этого дня. За тех, кто не дошел, тогда еще не пили: никто не знал, а доживет ли он сам до конца войны. И только поднося кружки к губам, солдаты привычно выдыхали: «Ну, будем...»

А со снежного холма далеко было видно: в Польше горбатились крытые соломой избы, в Германии надменно краснела нарядная черепица пограничного хутора.

Как долгон путь от приорловского городка Новосиль до немецкой границы! Не километрами, а солдатскими могилами он измеряется. Статистики после войны подвели итог немыслимой арифметики: ежедневно мы теряли четырнадцать тысяч. Ежедневно!

А шли к границам неметчины почти три с половиной года...

В орловской земле остался мой первый комвзвода, старшина Вартанян. Я даже не помню, как его звали, ведь по имени называть начальство не положено. Знаю только, что в Ереване не дождались его мать, жена и маленькая дочка.

В белорусской земле могилы, вырытые моими руками. И вряд ли кто отыскал их в болотах, чтобы воздвигнутьobelisks. Остались там всемогущий король нашей разведки Толя Малютин, бог и воинский начальник капитан Рывкин, закадычный дружок мой, московский слесарь Витя Гусев. В Польше, на высоком берегу Нарева, зарыт мой комбат Александр Гурин.

А я через сорок лет только повторяю их имена. И помню, помню их молодыми, красивыми, жадными до жизни, какими они были сорок лет назад.

И не могу смириться с мыслью, что память о них может умереть вместе со мной.

КАБАН И КОГОТЬКО

Вечер и почти всю длинную ночь мы шли по этой самой Германии. Шли без боев сквозь брошенные немцами хутора и села. Дрались где-то левее нас — там полыхали кострища пожаров, так полыхали, что огнем наливались заснеженные поля.

Непривычно было идти по вражеской пустой и враждебной земле. Ждали нападения, встречного боя. Никто не пристраивался подремать на лафете. Автоматы без всякого приказа переползали у солдат из-за спины на грудь. Но было тихо. Ни фашистских солдат, ни мирных жителей — никого. Только левее дороги дрожали высокие отсветы да скрипел снег под сапогами.

Наконец, когда ночь уже была на исходе, в каком-то неимоверно длинном селе приказали полку разместиться на отдых. Батарее достался двухэтажный, ничем не отличающийся от других дом.

Нет, крестьяне ни у нас, ни в Польше, через которую мы шли почти год, так не жили. Переливался натертыми пластинками паркет, под пальцами густо и полновесно звучали клавиши пианино, шкаф набит пиджаками, мундирами, я даже увидел хорошо отутюженный фрак. И хрустальные бокалы в серванте. И портреты Гитлера в каждой комнате.

В кафельных печах затрещали дрова. Откупоривались бутылки, узкие, высокогорлые, белого сухого вина. А во дворе на жарких кострах солдаты уже варили кур — брошенный птичник был полон.

Не помню, о чем мы говорили в то утро в этом крестьянском, по-господски богатом доме. Вино, усталость, тепло — все вместе клонило в дрему. И я, наверное, вскоре заснул бы тем каменным сном без сновидений, которым спят на войне, если бы не ездовой третьего орудия Коготько.

Низенький, плотный, лет за сорок, ничем, кроме зверского аппетита, на батарею не прославившийся, он вошел в комнату и, чего с ним никогда не бывало, стал по стойке «смирно» и рывкнул:

— Разрешите обратиться?

И услышав мое, совсем не уставное: «Ну, чего тебе?» — сразу же подошел вплотную и почему-то зашептал:

— Товарищ комбат, там у фрицев кабан, такой кабан, пудов на двенадцать...

— Ну и что? — спросил я, ничего не понимая.

— Я, товарищ комбат, люблю еду серьезную, мне эти курицы ни к чему...

Он помолчал, выжидая, но я молчал тоже. Ко-

готько еще ближе придвинулся и шелестящим шепотом спросил:

— Можно этого кабана... Это самое... Как фашистского, значит...

— Можно,— разрешил я.— Во-первых, потому, что жителей нет, а потом он — фашистский, как ты говоришь.

Разговор развеселил и прогнал сон. Я накинул шинель и вышел во двор. На бетонном полу свинарника Коготько, разложив костерок, уже опаливал огромную свиную тушу. Кругом толпились солдаты. И командир первого орудия, сержант Василий Трясцин, тракторист с Урала, сказал:

— Смотрите, как жили. Даже в хлеву — бетон, электричество, вода. Зачем же они, гады, к нам полезли?

История с кабаном и Коготько тем не кончилась. Когда на батарее не стало продуктов, я услышал крики и ругань у орудия. Солдаты хотели отобрать у Коготько мешок с салом, а тот собирался защищать его буквально с оружием в руках. Я приказал сдать сало на кухню.

— Я сдам,— сказал ездовой, губы у него дрожали от обиды, как у ребенка,— я сдам, только где они были, когда Коготько кабана резал? Куржрали. Норовят на готовое. Неправильно это, комбат.

Собирался заключить рассказ о Коготько трагикомической картинкой: ездовой с карабином в руках защищает свой мешок сала. И понимаю — нельзя, не имею я права на это.

...Когда полк выматывается в тяжелых боях, когда в главной ударной силе — стрелковых ротах остается по двадцать пять — тридцать бойцов, приходит из штаба полка разнарядка: выделить в пехоту такое-то количество солдат. Такая разнаряд-

ка поступает, конечно, не только на батарею: писари, обозники, связисты пополняют стрелковые роты. Но от сознания, что ты не один, не легче. В батарее тоже потери, каждый человек необходим. Но с приказом не спорят, понимаешь, что комполка идет на крайнюю меру, делает это не от хорошей жизни.

Я недавно командовал батареей, впервые получил приказ: отчислить четырех человек. Кого послать?

Когда знаешь людей предельно близко, ходил с ними в бой, делил последний сухарь и выскребал со дна кисета последнюю щепоть махорки, вопрос этот становится неразрешимым. Отчислить из батареи никого нельзя и не отчислить четырех нельзя тоже.

Сидеть над списком личного состава и выбирать мне не надо, всех я знаю в лицо и на память. Сидоров пришел в батарею недавно... Один. Федоровский трусоват малость, норовит сачкануть, пошлешь его в тыл, не дожدهшься... Второй. Гаврилюк? Солдат как солдат. Разве что всегда какой-то грязный, замурзанный. Не повод, конечно. Жалко. А кого не жалко? Допустим, Гаврилюк — третий. Четвертый?

Снова и снова придиричиво и пристрастно перебираю батарейцев. Это как решиться, какой палец на руке отрубить, — каждый дорог.

Полдня тасую людей и никак не могу выбрать четвертого. Уже тринадцать часов, а к вечеру люди должны быть отправлены в третий батальон. Кого? Он хороший ездовой, лошади у него всегда накормлены, вычищены... Да вот жадный какой-то, из-за сала трофейного за карабин схватился.

Понимаю, что несправедлив, что играю в поддавки сам с собой. А что делать? Не могу же пойти

к командиру полка и заявить: «У меня, кроме троих, никого не нашлось». Значит, Коготько.

Солдаты всегда все узнают первыми. И потому факт, что к вечеру из батареи откомандируют четырех, ни для кого не секрет. Я ловлю на себе чересчур внимательные взгляды. И решаю — никому ничего до вечера не говорить. Но Коготько каким-то седьмым чувством угадал беду, которая над ним нависла.

Он подстерег меня в кустах, на переходе между пушками и штабом батальона. Загородил тропинку, стал, комкая в пальцах недошитую уздечку. И заговорил, глядя прямо в глаза:

— У меня пятеро детей. Мал малого меньше. Мне обязательно надо с войны вернуться. Баба больная. Детишек пятеро. Смилуйся, комбат.

— Да кто тебе сказал, что тебя отчисляют? — попытался я уйти от разговора. — Я сам пока не решил...

— Ты еще молодой со мной хитрить. За сало это проклятое помнишь. Да кабы знать, я б того каба на за версту обошел. Пятеро ребятишек у меня. Мал малого меньше.

И глаза полны такого безнадежного ужаса, что не выдержал я, бессильно махнул рукой:

— Ладно, иди к лошадям...

Вместо Коготько пришлось откомандировать парня помоложе. А ездового я демобилизовал в первые послевоенные месяцы. Попрощались, он подержал мою руку в своих жестких, как конские копыта, ладонях.

— Приезжай ко мне в Речицу, самым дорогим гостем будешь.

Я пообещал, но так и не собрался. А теперь уже наверняка поздно.

МОЙ ОРДИНАРЕЦ

Специально писать о Мишке Волкове я не собирался. Ну ординарец и ординарец. Но все-таки он был настолько необычен, что не написать о нем страничку-другую, просто нельзя.

Приблудился он к батарее из штрафной роты. Поддерживали ее при прорыве обороны на Нареве. Прислали на огневые восемь штрафников — помогать нам пушки катить. После боя я ребят этих отослал. Они ушли, и Волков с ними. Все как следует. А через день смотрю — Мишка рубает суп во втором расчете.

— Ты откуда взялся? — спрашиваю.

Молчит. Сопит.

— Давай, — говорю, — дуй к своим штрафникам.

— Оставьте на батарее, — просит. — Потом чего-нибудь отпишете...

А у меня большие потери, людей в расчетах не хватает.

Так он и остался.

До появления Волкова ординарца у меня не было. Знал, что положено, но обходился. Пропали иногда сливочное масло и рыбные консервы из офицерского допайка. Ну и черт с ними! Особенно не огорчался. Но Мишка, только стал полноправным артиллеристом, выпросил у старшины новенький вещмешок, уложил туда оранжевую плоскую банку под масло и непонятно откуда раздобытое свиное сало. На пояс повесил флягу, почему-то всегда по пробку залитую водкой или спиртом. Набил гранатами карманы, автомат за спину — и начал ходить за мной как привязанный.

Вещмешок его воистину был бездонным. Там

можно отыскать все, что понадобится,— от сухих портянок до дамских часиков: а вдруг потребуется подарить что-нибудь попутной медсестре.

До штрафной у Волкова в городе Курске была не шибко уважаемая профессия карманного вора, и разгадать тайну его вещмешка нетрудно. Но на батарее ничего не пропадало.

На мои слова, что он когда-нибудь попадется и его пристрелят, Мишка презрительно фыркал вздернутым, похожим на пуговицу и всегда простуженным носом.

Лицо у Волкова невыразительное, круглое как блин. Монгольского разреза косо поставленные глаза поблескивали умно и хитро. Невысокий, с непропорционально широкой грудью, он обладал большой физической силой. А страха не знал совершенно: пер за мной под огонь будто заколдованный. И послать его можно было в любое место боя: если не убьют — выполнит.

О своем прошлом говорил неохотно. Только как-то раз обронил: «Воровать при немцах начал. Потом наши пришли, все равно жрать нечего. У меня матку и отца фрицы убили. Ну и стал уркой, щипачом. Кличка — Косой. А потом, ясное дело, замели...»

От вопроса — будет ли воровать после войны? — отмахнулся, как от дурацкого:

— А что я умею? — и, чтобы отместить неприятное: — Дожить еще надо, комбат...

Понял я, что хоть и младше меня Волков на два года, опытом жизни старше на все десять. И больше не лез к нему в душу.

Был Мишка великим дипломатом. Просто и по-свойски держался со мной только наедине. При начальстве тянулся в жилу, как вымуштрованный строевик. А при женщинах становился настолько

уважительным и беспрекословно послушным, словно у меня на плечах, если не маршальские, то уж наверняка генеральские погоны. Ухаживал бывало за случайной попутчицей не столько я, сколько Волков.

За полгода войны Мишку даже не поцарапало. Судимость мы с него списали. За бои под Кенигсбергом награжден Волков медалью «За отвагу».

Когда я демобилизовался, он остался еще служить. Помог донести до вагона мои пожитки. Уезжал я поездом в пять утра, и Мишке могло крупно нагореть за самовольную отлучку. Но на мои слова он вяло отмахнулся: «Зола».

Первый и последний раз расцеловались мы на перроне, возле вагонных ступенек. И ушли друг у друга из жизни. Как все сложилось потом у моего ординарца, бесценного друга, боевого товарища, не знаю.

Где ты? Как живешь теперь, Михаил Ермолаевич? Если попадутся тебе эти строки, напиши, пожалуйста...

СТАРШИНА КОСТЫЛЕВ

Старшина Костылев ничем не отличался от пожилых солдат, срок службы которых давно прошел и только война заставила их взяться за оружие. Гимнастерка с чересчур широким воротом, словно большим хомутом, узкий брезентовый ремень — его всегда хотелось затянуть еще на два-три отверстия — уж больно не по-военному болтался на нем, в кирзачах мотались тощие икры. Низкорослый и невзрачный. Скудные усы, морщинистый лоб под засаленной пилоткой. Был Костылев командиром третьего орудия. Батареей командовал я. Мне только-только минул двадцать один год.

Дать волю своей молодой рьяности и раздражительности, наорать на Костылева, чтобы он наконец, мать его так и этак, подтянул ремень и пришил новый подворотничок, я не мог. Не мог потому, что можно было сколько угодно придиаться к внешнему виду Костылева, но придаться к тому, что делалось в его расчете, было невозможно. Пушка всегда вычищена и смазана, чехлы защиты, снаряды аккуратно сложены. Я воевал уже третий год и понимал, что порядок на батарее гораздо важнее подворотничка командира орудия.

Солдаты в расчете Костылева — молодые ребята, и звал он их по фамилиям, как и положено, а вот пожилого ездового уважительно — Федором Павловичем. А тот старшину именовал Петром Ивановичем. Хотя меня колхозные порядки бесили, я сдерживался.

Мне нравился расчет третьего орудия (для тех, кто не служил, скажу, что кроме Костылева сорокапятку обслуживали шесть человек). Расчет напоминал семью со строгим, заботливым отцом. Так, к примеру, сахар командир не делил, хранил его в своем вещмешке и при возможности устраивал дружные чаепития. Один из солдат не курил, и Костылев ему табак не выдавал. Но, когда батарея маялась без махорки, третий расчет дымил сбереженным.

И еще одна странность была у Петра Ивановича. Когда мы брали какой-нибудь населенный пункт, село ли, город, и у старшины был час-догой свободным, Костылев исчезал. Бродил по пустым, брошенным домам, по полувзорванным школам. Чего он искал? Что ему нужно на чужих пепелищах?

Наводчик третьего орудия, сержант Алешка Борисов, которого я однажды с пристрастием до-

просил, щуря в улыбке светлые, как бегущая вода, глаза, сказал:

— Да не думайте плохо, комбат. Тетрадки он ищет. Школьные.— И, заметив мое удивление, добавил:— В гражданке старшина-то учителем был. По математике, значит...

Я столкнулся с Костылевым в брошенной школе. В разбитых стеклах посвистывал ветер, под сапогами хрустела раскрошенная штукатурка. Костылев в пустую противогазную сумку, которая заменяла ему полевую, укладывал из чудом сохранившегося шкафа с полуоторванной дверцей голубую пачку тетрадей. Увидев меня, он не смутился, однако покраснел, кашлянул. И промолчал.

Ночью я подошел к костеру третьего орудия. Расчет спал. И только Костылев огрызком красного карандаша правил тетрадки...

Я был в темноте — Костылев у костра, старшина меня не видел. Не хочу теперь выдумывать свои мысли и по писательской привычке конструировать что-нибудь о призвании или о тоске пожилого учителя. Тогда я осторожно, чтобы не помешать Костылеву, ушел. Но помню до сих пор его лицо, дрожащие на нем красные отблески. И не вижу ни гимнастерки с мятыми старшинскими погонами, ни засаленной полоски подворотничка...

Петр Иванович Костылев и Алеша Борисов довоевали до Победы. Не знаю я, где они. Только вспоминаю о них с такой пронзительной нежностью, что начинает болеть сердце.

БАЛЛАДА О ЛОШАДЯХ

Сержант Яков Тараканов говорил, что он цыган. И хотя по документам числился русским, ему верили. Было что-то цыганское в черных, горячих, легко

вспыхивающих яростью и весельем глазах, в спутанной проволоке иссиня-черных волос... А главное — любовь к лошадям была у Тараканова чисто цыганская.

Пока шли по Польше, любви этой негде было развернуться: за повышенный интерес к имуществу мирных жителей командование строго наказывало. А Восточная Пруссия встретила нас брошенными хуторами. За высокими воротами конюшен обреченно и тоскливо ржали голодные лошади.

Заморенных колхозных коняг, на которых дошли до Германии, сменили на породистых немецких лошадей почти все. Но лучшие кони всегда были у Якова Тараканова.

Помню двух красавиц кобыл, которые ходили у него в орудии. Левая — темно-гнедая, с розовой замшей ноздрей, с огромными прямо-таки женскими глазами. И правая — светлая, буланая, грациозная, как балерина.

Яшка Тараканов скармливал им свой хлеб и сахар, ласково оглаживая горячие ноздри. И кобылы тянулись к нему, словно они не лошади, а собаки.

Единственный из командиров орудий, он завел себе верхового коня. Огромного вороного жеребца, черно-бархатной, как траурная ночь, масти. Прозвездь на лбу да правая передняя нога от бабки до колена в чулке — только и были два белых пятна на жеребце. На батарее прозвали жеребца Цыганом. Такое же прозвище было у сержанта, но он не обижался.

Однажды понадобилось мне быстро попасть в штаб соседнего батальона, и я попросил Цыгана у Тараканова. Его всего передернуло, словно не лошадь, а жену я попросил уступить на время. Но, передавая теплые, нагретые его горячими руками поводья, только предупредил:

— Держи их потуже, а то удила зажмет зубами, и ты ему без интереса — к любой кобыле утянет...

С жеребцом я намаялся, он все время пытался перейти с рыси на галоп, вытягивал голову, прося повод, а я, помня слова Тараканова, прижимал голову Цыгана к груди.

Серdito фыркающую, злую скотину я вернул владельцу. Тараканов гладил жеребца, успокаивая, бормотал ему в острые волчьи уши.

— На тебе ездить умеючи надо... Чтoб ты любил ездока-то... А то садятся всякие...

Руки у сержанта ревниво дрожали. А жеребец ласково дышал ему в лицо, а потом осторожно и бережно взял руку Тараканова теплыми губами, под которыми влажно поблескивали зубы...

Минометный налет был внезапным и коротким. Минуты две вставали вокруг хутора столбы разрывов. И — тишина. Нестерпимо воняет сгоревшей взрывчаткой от стелющегося по земле желтого дыма. Никого вроде не задело, и только надрывное, какое-то не лошадиное ржание полоснуло по сердцу: осколок срезал переднюю ногу Цыгана, как раз ту, правую, в чулке.

Верхняя половина чулка забрызгана кровью, из раны торчит ослепительно белая кость, а толстая красная струя хлещет на землю.

Тараканов шел к жеребцу, спотыкаясь, словно ровный, мощеный двор был в ухабах и рытвинах. И Цыган всем своим большим телом потянулся к сержанту, прося помощи, крупные человеческие слезы текли по его морде.

Тараканов обнял прижавшуюся к нему лошадиную голову.

Он выстрелил из нагана жеребцу в ухо. И посторонился, чтобы на земле удобно разместилось большое, еще горячее тело.

Больше верховых лошадей у Яшки Тараканова не было, хотя ребята не раз подзывали его в очередной конюшне:

— Гляди, Яков, какая лошадь! Совсем по тебе...

Сержант угрюмо отмахивался. Словно всю свою любовь, порывистую и злую, отдал убитому жеребцу.

В боях погибали люди. И скорбь Тараканова по лошади казалась неуместной и неразумной. Но ее тяжелая сила заставляла, если не сострадать, то хотя бы понять Якова Тараканова.

Он вырос в детдоме, не знал ни отца, ни матери, с людьми сходилась трудно. В батарее сержанта, жестокого, злого и хлесткого на язык, недолюбливали, хотя командиром орудия он был умелым.

А лошади шли с нами сквозь огонь, падали, как люди, под пулями и осколками.

Если бы Тараканов меня услышал, он бы наверняка отозвался — зло и пренебрежительно:

— Как люди? Они и есть люди, может даже и лучше. Только молчат.

Я тоже люблю военных лошадей, верных и преданных фронтовых коняг, и потому вряд ли стал бы спорить с Яковым Таракановым...

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВОЛОДЯ

Мы шли по Восточной Пруссии. Шли поначалу легко, немцы после короткого боя откатывались на запад. И новый ясный февральский день ничего необычного не сулил.

Командир второго батальона майор Березин, которому я отапортовал, что прибыл с пушками в его распоряжение, с напускной строгостью рявкнул:

— Долго спите, артиллеристы! — и развернул карту. — По этой дороге два часа как вышла пятая рота. Погоняй рысью, догонишь. Будешь ее поддерживать. — И добавил: — Командир там новенький, поможешь ему, коли что. Фроликов вчера на mine подорвался.

Последняя фраза и объяснила наконец, почему командир в пятой другой и подвела черту жизни моего друга — старшего лейтенанта Вани Фроликова.

Я пошел к пушкам. Солдаты после сытного завтрака — как никак шли по Германии, куры и поросята трофейные — дымили махоркой. Лошади дремали в упряжи, греясь на солнце. Влез на передок к орудию, скомандовал: «Расчеты, садись! Рысью марш!» — и мы поскакали.

Дорога была накатанная, ровная. Вскоре мы догнали пятую роту. Человек шестьдесят без всякого воинского строя неторопливо тянулись по дороге. Когда кони первого орудия, догнав пехоту, перешли на шаг, я остановил лошадей:

— Где командир?

Новенький, прямо-таки с иголочки, словно серийный выпуск военного завода, младший лейтенант спешил навстречу. Солдатская, с еще незамятой, жесткой складкой на груди, шинель перепоясана желтым офицерским ремнем, а на нем — дерматиновая кобура, неуклюжая, неудобная и, конечно, пустая. А кирзовые сапоги, начищенные тыловым гуталином, тускло светились на белизне снега. Был он очень молодой, совсем еще мальчишка, рыжий, обрызганный веселыми желтыми веснушками.

Познакомились. Сели на орудийный лафет, закурили. Младший лейтенант рассказывал:

— Прямо из училища к вам. Повезло — ускоренный выпуск. А то думал, не успею...

Мой ординарец, Мишка Волков, который сидел на том же лафете, хмыкнул:

— Вот, хорошо, если бы немцев без нас побили...

Младший смутился, порозовел, как девчонка:

— Понимаю, вам кажется глупым... только... вот...

И совсем запутался в словах, замолчал.

Я посмотрел на его пустую кобуру, нелепо торчащую на боку, и сказал, желая и подбодрить и сделать приятное:

— С вальтером обращаться умеешь?

— С пистолетом? — уточнил младший и честно признался: — Нет.

— Держи, научим.

Нарочно замедляя движения, достал из полевой сумки вальтер. Он блестел на солнце вороненой чернью ствола. Достал обойму, показывая и что пистолет заряжен и как это делается. Загнал ее обратно в рукоять, патрон дослал в ствол, поставил на предохранитель и сказал, стараясь не глядеть на полыхающие нетерпением глаза:

— Держи, твой...

Пехота впереди остановилась. На пригорке чернели дома явно брошенного хутора, а младший, запихивая пистолет в кобуру, не знал, что делать. Я посоветовал:

— Пошли на всякий случай разведку.

— Сам схожу, — решил младший и, взяв двух солдат, ушел.

— Геройский вояка, — глядя ему вслед, сказал Мишка, — сейчас, комбат, он с твоим вальтером аж до Кенигсберга дойдет...

...Хутор был пуст. Солдаты, уже научившиеся разбираться в немецком хозяйстве, сразу полезли в подвал, бетонированный, побеленный, уставленный аккуратными полками. А на полках — банки с компотами, котлетами, жареным мясом — все домашней консервации. Потянешь за красный резиновый язычок — и толстая стеклянная крышка, всхлипнув, отлипает. Пехота стала обедать, не отходя от полок. А мои ребята потащили приглянувшиеся банки наверх — в комнаты.

Связисты, разматывая за собой провод, направились к штабу батальона. Сержанта с пятью бойцами младший послал через широкую лощину на очередной хутор, который темнел на высоте. А мы сели обедать.

Однако идиллий на фронте не бывает. Через полчаса вернулся сержант — на том хуторе немцы, разведку обстреляли. Младший забеспокоился, заерзал на стуле, но, видя, что все продолжают закусывать, промолчал. Ему словно было невдомек, что он здесь за все отвечает, он командует ротой, а батарея роте только придана.

Зазуммерил телефон, и судьба голосом майора Березина приказала младшему доложить обстановку. И, разумеется, немедленно взять хутор, на котором сидели немцы.

Каким-то сразу осипшим, петушиным голосом младший лейтенант приказал пехоте выходить...

На улице, пока пехотинцы разбирали оружие, отозвал младшего в сторону.

— Как будешь брать хутор? Смотри...

Позицию немцы выбрали, как всегда, на командной высоте. До хутора километров пять, сначала вниз, в лощину, а потом на крутой изволок. Весь путь под немецкими пулеметами. Здесь было нехитро полк положить, не то что роту.

— Прикроешь огнем...

— А как я тебя прикрою? Сопровождать не могу — в ложине снегу лошадям по пузо. Отсюда амбразур не вижу. Бить по дому из сорокапятков вслепую глупо, тут гаубица нужна.

Младший глянул на меня с отчаяньем и хотел отойти. Я взял его за рукав:

— Подожди. Стемнеет, обойдем фрица с фланга. И людей сбережем, и приказ выполним. Не первый раз...

— Майор приказал: немедленно.

— Да доложи ему, мол, продвигаемся под огнем, мол, залегли и так далее...

Он посмотрел на меня так, словно я посоветовал обмануть не майора, а всевидящего бога.

Дальше пошло как всегда, если, кроме командира, все понимают, что бой выиграть нельзя. Развернутая в цепь пехота дошла до середины лощины, а когда заговорили немецкие пулеметы, залегла и стала окапываться. Пушки расстреляли по два ящика снарядов. Никакого впечатления ни на свою пехоту, ни на вражеских пулеметчиков это не произвело. Я скомандовал батарее «отбой» и повел людей в дом греться.

Часа через полтора пришел младший. Точнее — ввалился и сел на стул возле двери. Снегом были забиты не только карманы шинели, — в голенищах и даже за отворотами ушанки белел снег. Он похудел за два часа своего первого боя, на губах запеклась черно-кровавая корка. Ему подали кружку воды. Выпил. И обведя нас красными, воспаленными глазами, спросил:

— Греетесь? А у меня двух солдат насмерть, пятеро ранены...

Мы молчали. И тогда почти беззвучно, а от этого еще более страшно, он закричал:

— Приказываю! Немедленно! Или — всех за саботаж! — и рылся обмороженными пальцами в нелепой кобуре, не умея достать вальтер.

Все молчали. И только Мишка Волков, в обязанности которого входило оберегать меня, резко и нелепо щелкнул затвором автомата, ставя его на боевой взвод.

Младший повернулся и вышел. Кто-то тоскливо матюгнулся. И разом все потянулись за табаком. Прикуривали торопливо, не глядя друг на друга.

Его принесли минут через сорок. Очередь прошла через грудь. Офицерское удостоверение и комсомольский билет пробиты пулей, залиты кровью. Я сумел разобрать только имя: Владимир.

Ночью мы обошли хутор с фланга и выбили немцев.

Почему мне младший лейтенант Владимир не дает покоя вот уже сорок лет? Вроде бы я ни в чем перед ним не виноват. Я не посылал его в бой. Не приказывал ему немедленно атаковать хутор. Я даже давал ему разумные, с точки зрения фронтовика, советы. И все же... Что все же, черт побери?

ПОЕДИНОК

До реки Пассарге, где вермахт готовился нас встретить и остановить, было еще километров пятьдесят. А пока немецкий арьергард, задержав нас на несколько часов, к ночи обычно откатывался на запад. И нам казалось, что война на исходе, противник разбит и мы с такими игрушечными боями дойдем до Балтики.

Когда возле леска походная головная застава — стрелковая рота и мои пушки — наткнулась на редкий пулеметный огонь, мы привычно развернулись в цепь, орудия поставили, не окапываясь, прямо на снегу. Командир батальона приказал ждать, пока подойдут остальные роты, солнце светило всю, и день этот, наверное, не зацепил бы памяти, если бы не снайпер.

Сначала на изредка посвистывающие пули никто не обратил внимания. Ну стреляют и стреляют, эка невидаль. Но потом стало ясно: это не обычная пальба, немецкая винтовка была в руках мастера. Стоило подняться, пройти несколько метров, и пуля, причем только одна пуля, с нежным посвистом бросала человека на землю.

Позор — один единственный снайпер прижал роту и батарею к земле, парализовал страхом и не дает поднять головы. Но возмущайся сколько хочешь — пули свистят редко и бьют без промаха.

Убит командир стрелкового взвода, вежливый и умненький мальчик, Коля Тапин. Пытались — один за другим — подползли к нему трое солдат, да так и лежат вчетвером, брошенные ничком на снег.

И у меня не стало двоих в батарее — замкового первой пушки Алексева и подносчика снарядов Прохоренко...

Закопались в снег, лежат лицом вниз, страшно поднять голову. Мы с Волковым шарим биноклями по немецкой передовой: ну откуда бьет эта сволочь? Откуда?

А там тихо. Пулеметчики прекратили огонь. Зачем им зря патроны тратить? — один за всех treклятый снайпер старается.

Когда треснул очередной выстрел, раскосые монгольские глаза Мишки Волкова заметили то ли

дымок, то ли пыльцу взлетевшего снега. Он радостно вцепился мне в руку:

— Смотри, комбат,— говорил Мишка почему-то шепотом, словно снайпер может его услышать,— смотри, одинокая елочка, малехонькая — видишь? — ближе сто, левее ноль пять... Там он сидит, гад.

— Подкинь шапку,— попросил я ординарца, не сводя бинокля с чуть желтенького пятна, которое первым заметил Мишка.

Волков подбросил шапку. И сразу же — выстрел, шапку отнесло пулей в сторону. Но я успел заметить снежную пыль, которая поднялась перед стволом винтовки.

Так. Снайпера мы нашли, теперь надо добратся до ближайшей пушки, а до нее метров двадцать.

Рвануть просто на авось? Положит, добежать не успеешь. А что придумать? Ни телефона возле меня, ни пулемета. Только Волков сидит голоухий, не решается ползти за шапкой. И правильно, между прочим, делает — голова дороже шапки.

— Давай так,— останавливаюсь на единственно возможном,— я приготавлиюсь, ты бей из автомата по снайперу, я рвану к пушке. Потом ты по сигналу за мной.

— А на кой мне бить? — сомневается Мишка.— Все равно ведь не попаду...

— Знаю, что не попадешь. Отвлечь внимание. Понял?

— А не спугнем снайпера? Переменит, гад, позицию, ищи опять его...

— Никуда он не денется — окоп-то на чистом поле,— начинаю я злиться.— Приготовились.

Подбираю под живот ноги, чтобы рвануться, как бегун со старта. Выбиваю носками сапог ямки в снегу для упора. Все. Готов. Волкову:

— Огонь!

Заплевался гильзами ППШ в Мишкиных руках. И я уже бегу, не чуя ног, бинокль колотит по груди,— не снял, болван, у пушки же оптический прицел,— сердце бьет в горло и череп. Влетаю за стальной щит орудия и слышу, как по нему одна за другой цокают две пули.

Пушка, славу богу, не в походном, а в боевом положении. Значит, можно из-за щита не высовываться. На конце ствола, правда, брезентовый чехол, придется его сшибать выстрелом. Ладно, будем живы, новый сошьем.

Ползая на четвереньках за пушкой, дотягиваюсь до снарядного ящика. Открываю. Тьфу ты черт,— бронебойные... Ладно, хоть такими снарядами по окопу бить бессмысленно,— для испуга сойдет.

Щелкает клиновой замок — снаряд в казеннике. Навожу пушку. Бью! Красная трасса уходит к немцам, а Волков срывается с места и, оставив там бинокль и автомат,— понял, умница, мою ошибку,— без шапки, запыхавшись, падает рядом со мной за щитом орудия.

Еще одна трасса прочерчивается к окопу снайпера, а Мишка в это время подтаскивает ящик осколочных снарядов. Теперь можно начинать.

Тщательно, не торопясь, навожу пушку. Вот оно, в перекрестье оптического прицела желтое пятнышко окопа. Выстрел. Разрыв сметает снег с бруствера. Снайпер, конечно, уже сел на дно окопа, думает, что я в земле его не достану. Посмотрим!

Тремя снарядами, тремя тщательно положенными разрывами, сметаю передний бруствер. Ага, вот он, хорошо виден теперь и задний бруствер окопа. Сидишь, гад? Сиди.

Навожу перекрестие под еле видный бугорок земли. Огонь! Разрыв. Точно там, куда и целился.

Осколки должны ударить вниз, в окоп. Второй снаряд. Третий...

Чтобы было все наверняка, вбиваю в заднюю стенку окопа еще пять разрывов. И выпрямляюсь в рост над стальным щитом пушки. Тишина.

Господи, как хорошо, когда можно ходить, не ожидая ежесекундно снайперской пули. Волков приносит шапку, напяливает на замерзшую голову. Сквозная дыра там точно посередке.

— А неплохой снайпер был,— скалит Мишка желтые от табака зубы,— упокой немецкий бог его душу...

ДВА ДНЯ

Название этого городка навечно врезалось в память. Там меня собирались расстрелять. Там я потерял пушки. Там награжден самым высоким для меня орденом — Отечественной войны I степени.

Все эти события начались обыденно и неприметно. На рассвете, каком-то серо-измызганном, — шли всю ночь, и нестерпимое желание спать окрашивало городок, снег, солдат чем-то угрюмо-безотрадным — полк втянулся в длинную улицу. И остановился. Лошади, тяжело поводя мокрыми от пота боками, раздвинули задние ноги и — желтые ручьи пересекли растоптанную дорогу. Люди садились на повозки, артиллерийские лафеты, обочины дороги и мгновенно засыпали. Я тоже сел на станины орудий и куда-то провалился.

Меня трясли за плечо — бесполезно: просыпаясь от толчка, я сразу же соскальзывал обратно в сон, но слова: «Да проснись ты,— комполка вызывает», — заставили разлепить неподъемные веки.

Светло. Хорошо видны каменные двухэтажные дома с нарядно-красными черепичными крышами. За стеклами тускло вспыхивали огоньки — солдаты зажигали спички и зажигалки, входя в брошенные немцами дома.

Седоватый, казавшийся мне тогда стариком, хотя лет ему было сорок — сорок пять, подполковник Попов ткнул пальцем в карту:

— Мы здесь.

Я увидел растянутую цепочку черных квадратов, обозначающих дома, и надпись: «Розенгардт». Затем палец подполковника переместился к квадрату с крестиком — «Мельница» — четыре километра от города. Поедешь туда с батареей, будешь прикрывать полк. Третья рота уже вышла. Вопросы?

Какие уж тут вопросы... Кончай ночевать! И — батарея, рысью марш! Все ясно как апельсин.

Мельница — приземистое, кирпичное строение — стояла, как ей положено, на холме. Сзади виднелись дома Розенгардта. Впереди лес охватывал холм с мельницей. Опушка начиналась в конце снежного поля, от мельницы километра за два. В лесу, если верить карте, хутор. Разведка, посланная командиром роты, доложила, что хутор цел, но жителями брошен.

Когда батарея подъехала к мельнице, был ясный солнечный день. Пехота уже выставила дозоры и спала вповалку в тепло натопленном домике. На снегу чернела тупая морда «максима». Возле пулемета никого не было, хотя он развернут дулом к лесу и в приемник заправлена лента. Справа от него я приказал ставить пушки. Артиллеристы привычно замахали лопатами, разбрасывая снег. Стоянка у мельницы казалась обычной: подтянутся тылы — и двинем дальше. Потому и пуле-

мет стоял прямо на снегу, и мои пушкири не рыли настоящих огневых, а только укрепили сошники станин (стрелять можно — и ладно).

День был солнечный, тихий. И казалось, главное — выспаться.

С утра до вечера, как на курорте, ни выстрела. Солнце уже начало сползать к горизонту, высвечивая оранжевым неровные верхушки деревьев. Золотисто-багровые световые столбы пробили комнату, в них заходили бог весь откуда взявшиеся зимой пылинки, да плыли сизые махорочные дымы.

Офицеры, бывшие на мельнице, ужинали. Помню, пшенную кашу с мясом привезла кухня, банки свиной тушенки да фляга с водкой — свои запасы. Говорили мало, поглядывая на аппарат полевого телефона на подоконнике. Сейчас зазуммерит, и приказ — сниматься и выступать.

Нас четверо. Капитан, замполит батальона, старший по званию и положению да и по возрасту. Ему за тридцать, красное от ветра лицо, на котором выделяются крупный нос и сросшиеся у переносья брови. Командир стрелкового взвода младший лейтенант Сережа, фамилии не помню. Сережа только-только из училища, знает еще на зубок все уставы и наставления, легко краснеет и, по моему, ни разу не брился. Старлейт, командир роты Вася Поляков, мой старый знакомый. И я. Подчиненных мне офицеров на мельнице нет, ибо мои две пушки только называются батареей. По существу, это взвод, и лейтенант Миша Яковлев три дня назад уехал в артмастерские за пушками.

Сумерки начали сгущаться. Телефон молчал. Делать совершенно нечего, и мы курили, перебрасываясь какими-то малозначительными словами.

По коридору простучали твердые, словно из чугуна отформованные валенки. Дверь отворилась, и в комнату втиснулся закиданный снегом от валенок до ушанки боец.

— Сержант прислал доложить: по-над лесом к городу солдаты идут. Чи наши, чи немцы — бис их знает.

— Грейся, замерз, поди, — сказал солдату Поляков.

Выходить и смотреть в темноту бесполезно, и Поляков взял телефонную трубку.

— Командира батальона... Дежурный? Слушай, дежурный, какая-то воинская часть, обтекая нас, движется к городу. Выяснишь — позвонишь.

Он отдал трубку связисту.

— Видно, здесь и ночевать будем. Позвонят из штаба, и будем укладываться...

Дежурный позвонил минут через пятнадцать.

— Какой полк? — переспросил Поляков. — Тысяча двадцать второй? А откуда он взялся? Ну, ладно — вам виднее.

Мы выпили еще граммов по пятьдесят, покурили, капитан, побряхывая, стягивал сапоги. Он не успел снять второй, когда на подступах к Розенгардту, как валежник на костре, вспыхнула и покатилась неровная винтовочная пальба.

— Связи нет, — доложил телефонист, взял карабин и ушел по линии.

— Штабные ж...! — выругался Поляков и, следя недобрыми глазами за капитаном, который уже натягивал только что снятый сапог, спросил:

— Что будем делать, господа офицеры? Думайте...

«Господа офицеры» Поляков говорил, когда попал в тяжелое положение и понимал: советуйся не советуйся, а дело дрянь.

Что дело дрянь, понимали мы все. Не мифический тысяча двадцать второй полк, а обычный немецкий, оставив нас в тылу, врывается в город. А может, уже ворвался — захлебывались длинными очередями пулеметы, гремели взрывы гранат, причем стрельба отдалялась, значит, немцы выбивали полк из города. Связист и посланные следом за ним два солдата не вернулись. Связи по-прежнему не было.

Горят светло и без копоти две плоские немецкие свечи. Между ними потертая на сгибах, разбитая на двухкилометровые квадраты карта. Но смотреть на нее нечего: Розенгардт вроде у немцев — стрельба затихла, изредка на дальней окраине прокатываются пулеметные очереди. На хуторе впереди — немцы: нашу разведку там обстреляли. Связи нет.

Вася Поляков вполголоса:

— Что будем делать? Отходить без приказа — сами знаете... Сидеть тут — ждать пока фрицы задавят... Будь у меня рота нормальная, а то пятьдесят человек — пополнение, пока не знаю, что за люди. Ребят, на которых положиться можно, — в роте, наверное, десяток, не больше.

Мы молчим. Главное слово за замполитом. Он старший — ему решать. Взять ему на себя ответственность — приказать отходить? Мы-то отойдем чистенькие по его приказу. А капитана могут и к стенке поставить за такую самостоятельность. Вдруг полк будет наступать, надеется, что мы сидим занозой в немецком тылу? А может, шлют связных, чтобы мы пробивались к полку? А связные, как и наши, натыкаются на вражеские заслоны. Разберись...

Капитан вопросительно и растерянно обводит нас глазами. Что снарядов у меня полбыка — половина боекомплекта, да и те в основном бронебойные, я уже говорил. И добавить что-либо к словам Полякова нечего.

Капитан медленно, словно растягивая секунды, скручивает сигарку, прикуривает от свечки и выдыхает с махорочным дымом:

— До утра будем здесь.

Решение принято, больше толковать не о чем. Надеваю шинель, выхожу к пушкам.

Черно-бархатное, грозно горящее белыми звездами небо начинает над лесом светлеть. Наводчик Алеша Борисов, часовой у орудия, подходит ко мне, спрашивает:

— Чего решили, комбат?

— Будем до утра здесь.

— А утром фрицы полезут, — резонно говорит наводчик.

Утром все началось как по нотам. Из леса, охватывая подковой мельницу, высыпали немецкие цепи. Одна, вторая, третья... И по тому, как они пошли, не торопясь, грамотно соблюдая дистанцию и между цепями, и солдат от солдата, можно определить: это не фольксштурм и не гитлерюгенд, не старики и не мальчишки. В атаку шли хорошо обученные солдаты.

Задача у немцев простая — выбить нас с холма и погнать к западной окраине Розенгардта на свои пулеметы. Фрицы шли медленно, в бинокль уже было видно, как они оступаются на крутом склоне в глубоком снегу. Ударил наш «максим», трассирующие замелькали, пролетая сквозь цепи. Вставали и падали черно-белые разрывы моих снарядов. Цепи залегли, но не отступали. По кирпичным бокам мельницы застучали пули, закурилась

розовая пыль. И — еще хуже — в лесу забахали минометы, снег почернел — разрывы рубили его, смешивая с землей.

Что мы могли? Трижды, спасая «максим», пулеметики втаскивали его в дом, трижды я уводил своих солдат от пушек в укрытие. Но когда замолчали пушки и «максим», немецкие цепи поднимались. С каждой паузой они были ближе. И мы, опять выскакивая под минометные осколки, продолжали бой. Мина разорвалась рядом с «максимом», смяла кожух, как консервную банку. Покуда был жив Вася Поляков, покуда были осколочные снаряды, мы держались. Но вот замолчало сначала одно орудие, потом другое. И остатки третьей роты хлынули в поле, стараясь добежать до дальней, восточной окраины города — там стреляли, следовательно, там были наши.

Ездовые чертом вылетели на огневые. Запомнились Борисов и Костылев, когда они дважды промахнулись станинами тягловый крюк, за который цепляли орудие. А мы в это время били из автоматов, чтобы на какие-то минуты задержать немцев, которые были уже буквально рядом.

Наконец пушки одна за другой рванулись за бегущей пехотой. А вслед от мельницы уже мели очередями по снегу немецкие пулеметы.

Ах если бы фрицы не перекрыли дорогу в Розенгардт! Как быстро мы домчались бы до города... А тут снег становился все глубже, лошади шли медленно. Правая, темно-гнедая, у второго орудия, ткнулась мордой в сугроб и упала, пригибая голову другой лошади. Пока отцепляли построжки темно-гнедой, упала и вторая — буланая. А затем рядышком, скошенные одной очередью, легли лошади костылевского орудия. Что делать? Пушки в снегу по брюхо на себе не потащишь.

Первый раз за войну я попал в абсолютно безвыходное положение. Лошади лежат, посеченные пулями. Колеса орудий по оси провалились в рыхлый, податливый снег. Пулеметные очереди хлещут то спереди, то с боков, то почти задевая каблуки сапог. Ребята сбились возле пушек, смотрят на меня, как на бога, ждут моего решения, ждут команды. А что я могу?

Я знаю — пушки бросать нельзя. Нельзя! А как их отсюда выкатить? Тащить на руках — положишь всю батарею. И думать-то некогда — пулеметы бьют все точнее... Да в конце концов драпанул ведь замполит... Он старший по званию, ему бы и остановить пехоту... Ну что могут пушки, коли стрелковая рота бежит...

— Снимай прицелы! — заорал я.

Пока снимали прицелы, огляделся. Большинство пехотинцев, бежавших перед нами, лежат порезанные пулеметами. Слева темнела неглубокая ложинка, по которой, пригибаясь, можно добраться до нашей окраины города. Хотел сказать: «Пошли!» — и увидел, что командир орудия Яков Тараканов сел на снег, прижимая ладони к животу.

— Борисов, Коготько, помогите сержанту!

Они подняли и поволокли его в ложину. Там спустили штаны, чтобы перевязать, и я увидел три пулевых надреза.

— Здорово меня? — спросил Тараканов, успевший за каких-то пять минут похудеть и осунуться.

— Ничего, Яша, — утешал его Костылев, — вот в медсанбат отнесем, врачи починят...

В Розенгардт мы принесли Тараканова мертвым.

Для чего это пишу? Кто там был — никогда не забудет. Кто не был — вряд ли поймет. Бессильны любые кинокадры, даже документальные. Через три

надреза, напоминающих прикосновение перочинного ножичка, врубилась в сержанта смерть. Просто. Обычно. Не пролив вроде и капли крови...

Вышли! Солдаты садились и ложились прямо на растоптанный, перегоревший под множеством сапог снег. Пробегали запаленные связные. Ни замполита, ни комвзвода, которых я думал встретить у штаба полка, не было...

Подполковник Попов выслушал меня, не поднимая глаз. Потом, так же неотрывно глядя на растеленную перед ним карту, сказал:

— Третья рота пришла без комсостава. Да и пришло-то человек пятнадцать. За оставленную без приказа высоту, за брошенные пушки ответите вы.

Уколот меня взглядом. Шинель, посеченную осколками, я бросил и стоял перед ним в солдатском ватнике без погон.

— Сдайте документы и оружие.

Я очень старался, чтобы не дрожали руки, когда клал на стол парабеллум, удостоверение личности, комсомольский билет. Попов брезгливо, одним движением ссыпал все это в ящик стола.

— Автоматчик! — и солдату: — Найдешь пустую комнату, посадишь туда арестованного.

И вот сижу я третий час под арестом. Волкова, который принес котелок с супом и пачку махорки, солдат пропустил. Но его попытки заговорить оборвал: «Не положено».

Суп я съел. Курю сигарку за сигаркой, а бой на мельнице начинает поворачиваться какой-то иной гранью.

Там, под пулями, рядом с вражеской цепью, все диктовалось сиюминутными событиями. Кончились осколочные снаряды, побежала пехота — вывози пушки. Не удалось — спасай людей. Правильно?

А здесь, в тишине штаба, надвинулись и навалились, казалось, забытые: «За отход без приказа...», «Русские артиллеристы пушки не бросают...» Приказ Главнокомандующего и традиции русской армии — вот что правильно. А все остальное — отговорочки. Будет, очевидно, трибунал, — как-то ту-по, словно не о себе, а о ком-то постороннем думал я. Ну, разжалуют, пошлют в штрафбат. Ну ладно...

Я никак не мог понять, понять до конца, с безвозвратной определенностью, что это моя молодая жизнь вдруг расшиблась вдрезг, окончательно. И не помогут уже ни прошлые заслуги, ни ордена, ни офицерские погоны... Ничто не поможет. И почему-то бесконечно и тупо повторял, как заведенный: «Ну ладно, ладно...»

А ладного было мало. И когда автоматчик, стукнув дверью, сказал: «Выходи!», я совсем скис. От какого-то ледяного ужаса меня затрясло, хотя вроде ни руки, ни ноги не дрожали.

Высокий тучный полковник промокал носовым платком на багровой лысине пот. Папаха лежала на столе. Меня он сразу ударил словами:

— Трус! Сукин сын! — Я попытался что-то сказать. — Молчать! Бросил пушки. А сам прибежал спастись!? Позор на всю дивизию! Позор!

Казалось, полковник взвинчивает себя криком. А взвинтив, нахлобучил на лоб папаху, вынул ТТ из кобуры и — уже спокойно:

— Пошли. Я сам тебя расстреляю.

Попов, на которого я кинул отчаянный взгляд, не поднимал глаз от стола. Наверное, все, что начарту дивизии было можно сказать (когда полков-

ник надел папаху, я его узнал), Попов сказал. А полковник был уже рядом со мной. Толкнул пистолетом: «Иди!» — и я пошел.

Коридор длинный. Шел я медленно — торопиться некуда. За мной, тяжело переводя дыхание, шел полковник. Думал я, помню, о себе, будто о ком-то другом, — где будет расстреливать. В доме — нельзя: пуля-дура, она далеко летит. Ходить полковник не привык — вон как дышит даже в коридоре. Тогда с крыльца — крыльцо высокое, пока буду спускаться по лестнице, он и ахнет в затылок.

До выхода на крыльцо оставалось шагов пять — семь, когда я вдруг ясно, до конца понял, что расстреливать будут не чужого дядю, а меня. Лично. И встал. Точнее, врос в пол. Полковник толкнул в спину:

— Иди!

— Убить вы меня успеете, — я говорил торопливо, боясь, что договорить не дадут, — а кто будет пушки выручать?.. Солдат я вывел, пушки отобьем... Без пушек не вернусь, лучше уж от фрицев, чем от своих.

Я замолчал, выдохнув все, что мог. Стоял и молчал, сжигаемый последней надеждой. Молчал и полковник, твердо уткнув мне в спину ствол пистолета. И длилось это не знаю сколько — год, два... Самые долгие мгновения всей моей жизни.

— Иди обратно, — решил наконец полковник и повел меня тем же коридором назад.

Теперь думаю, что, когда пришла пора и в самом деле расстреливать, начарту сделалось не по себе: к такому ремеслу тоже надо привыкнуть. А тогда мне было не до размышлений. Полковник — я не спускал с него глаз — сел возле Попова:

— Можно этому сукину сыну доверить, чтобы отбил пушки?

Попов ответил незамедлительно:

— Можно. Он в общем-то неплохой офицер...

— У тебя все неплохие. А немцев вчера прошляпили. Батарею бросили. Если Розенгардт сами не отобьете, пушки не вернете, я с вас семь шкур спущу.

Попов достал из стола парабеллум, положил на него мои документы:

— Забирай. И погоны пришей, ходишь как махновец.

Документы я сунул в карман гимнастерки. А руки так затряслись, что не мог попасть пистолетом в кобуру. Так, держа его в руке, и вышел на крыльцо, сел на ступеньки. Идти дальше я не мог. Старшина Костылев, который, видно, беспокоился за меня, подошел, спросил:

— Что будем делать?

— Погоди,— я блаженно шурился на солнышко, словно видел его впервые,— погоди, дай отдышусь...

— Отдышись,— по доброму разрешил Костылев, протягивая кисет. И мы закурили.

Полк наступал. Медленно. Немцы дрались за каждый дом. С чердаков били пулеметы, отчеркивая полосу, через которую не переступить. И бой, как всегда в населенном пункте, распался на множество боев: за ратушу, за церковь, за кирпичный дом...

Я с ребятами по-партизански прорывался к трехэтажному дому, из которого должны быть видны увязшие в снегу пушки. Наши пушки.

Если можно обойти дома, занятые немцами, мы обходили. Нельзя — приходилось брать.

А перед боем я подошел к костру — полыхали

разбитые ящики, возле огня сидели мои славяне — и сказал:

— Не отобьем пушек — я пойду в штрафную, а вы в пехоту. — Подождал, не спросят ли чего, но солдаты молчали. — Запасайтесь патронами и гранатами — отбивать будем.

И все. Ни я в штрафники, ни ребята в пехоту идти не хотели.

Здесь, наверное, надо кое-что объяснить. Не хотели они стать пехотинцами не потому, что боялись, скажем, подниматься и атаковать под пулеметным огнем. В противотанковой батарее служить не безопаснее. А вот быт у нас полегче.

На походе орудейный расчет поочередно едет на пушке. А пехота телепается пешком. Стали в оборону — стрелок скребет землю малой саперной лопатой, а у артиллеристов лапаты, ломы, топоры, пилы при каждом орудии. Выкопали блиндажи, пехота их покрывает всем, что под руку попадается. А для нас двадцать — тридцать километров не расстояние, поедem, навалим сосновые кряжи, укроем блиндаж шестью накатами. Разве что авиабомба его прошибет. А под обычным артобстрелом — сиди, суши портянки. Для артиллериста перевод в пехоту — суровое наказание.

Уличный бой остался в памяти, как разбитое зеркало, осколками. Складывать их трудно, так осколочно и расскажу.

...Угловой дом ошетинился тремя пулеметами. Два били с чердака, третий — из окна на втором этаже. Пулевой барьер плотный — не прорвешься. Заряжающий второго орудия Иванов лежал, привалившись щекой к желтому, размятому сапогами снегу. Трассы крестили мостовую то возле его ног, то возле головы, то прокатывались по уже мертвому телу. И оно вздрагивало под ударами пуль,

словно Иванов все еще жил. Двое, легкораненых, ушли искать санроту. А мы не могли и носа высунуть из-за соседнего дома.

Мы оторвались от наступающего полка. И бой гремел где-то за спиной. Просить о помощи было некого.

Не знаю, сколько бы проторчали у этого дома, если бы не Волков. Мишка, дыша как паровоз на подъеме,— тяжело и прерывисто, вывернулся откуда-то из-за длинного забора, дернул меня за рукав:

— Там, на соседней улице, дивизионная пушка. Я им — стрельните по дому. А старшина, сволочь, пошел ты, говорит...

Долго думать не время.

— Костылев, останешься за меня! Борисов, пошли!

Пригибаясь под пулями, ныряя в какие-то проулки, перепрыгивая через штакетник заборчиков, бегу за Волковым.

Дивизионная пушка, раскинув станины, стояла на перекрестке. Разговаривать некогда, и я попросту приказал старшине, командиру орудия.

— Будем бить по пулеметам! Борисов — к панораме. Волков — заряжай.

Возразить офицеру старшина не посмел. На это и был расчет — распоряжаться на чужой батарее я не имел никакого права. Прежде чем старшина разинул рот, Волков загнал снаряд в казенник, а Лешка Борисов, прильнув к прицелу, уже подкручивал барабанчики подъемного и поворотного механизмов, разворачивая ствол.

Ах, какие наводчики были на батарее! Художники, маэстро огня.

— Огонь!

И первый снаряд разнес раму чердачного окна.

— Огонь!

И второй снаряд разорвался уже в глубине чердака, размазывая немецких пулеметчиков по стропилам.

— Огоны!

И еще три снаряда черно-алыми созвездиями вспыхнули в проклятом доме.

А потом донеслись хлопки гранат и автоматная стрельба — это Костылев с ребятами довершал дело.

...И вот он, этот трехэтажный дом, из которого можно видеть увязшие в снегу пушки.

День клонился к вечеру, а наступление полка на Розенгардте — к успеху. Немцы сопротивлялись уже вяло, они огрызались злобно, с неохотой, видимо, понимая, что из города им все равно уходить. А мои ребята, успев за день боя обзавестись двумя немецкими пулеметами, дрались дружно и напористо.

Два наших пулемета били в упор по дому, расщелкивая последние стекла. Немцы, выскакивая, бежали куда-то назад и влево — к зданиям, которые пока удерживала гитлеровская солдатня.

Наконец стрельба стихла. И мы пошли к дому, уверенные, что фрицев там нет.

Так оно и было. Кисло пахло порохом, под ногами перекатывались автоматные гильзы. Ребята вотопали по лестнице на верхние этажи. А я почему-то задержался внизу.

Свет падал через проем сорванной с петель входной двери. Три двери комнат, выходящих в этот полутемный коридор, были закрыты. И я, так сказать для очистки совести, пнул их поочередно сапогом. Первая — пусто, вторая — пусто. Третья...

На полу немецкий офицер, а над ним с бинтом — солдат.

Остальное запомнилось подробно, как в замедленной съемке. Я стоял на пороге, нащупывая рукоять парабеллума за отворотом ватника. Солдат, бросив бинт, шагнул в угол, к лежащему на полу автомату. Схватив оружие, он повернулся ко мне, но я успел выстрелить.

Солдат упал. А офицер, теперь я видел по погонам, что это обер-лейтенант, сел, опираясь на руки. И переведя ствол на его лицо, успев подумать, что он, белокурый, голубоглазый, красив, как на плакате, выстрелил.

Пулевой надрез возник аккуратной красной черточкой возле правой ноздри. И обер-лейтенант, падая, деревянно стукнул головой об пол.

Все это продолжалось доли минуты. Прошло с тех пор больше сорока лет. А я все вижу голубые глаза, глядящие в мои, когда палец уже прижал спусковой крючок.

Ребята установили пулеметы на верхнем этаже и поливали бугор, на котором стояла пушка. Почему-то одна.

Как только стемнело, мы ее вывезли.

На мой доклад подполковник Попов только и сказал: «Отдыхайте». Напряжение боя затухало: немцев вышибли из Розенгардта, стреляли уже возле злосчастной мельницы...

Отдыхать так отдыхать. Выбрали дом с чудом сохранившимися стеклами. Натопили печи. На плите ведра с курами, из расчета две курицы на солдата. Я думал, что хватит и по одной, но мне резонно возразили: «Вам ночью спать, а ребятам на пост идти. Погрызть чего-то часовому надо?»

И вот, сташив в одну комнату всю мебель, пируем. Водка в кружках, стаканах, хрустальных фужерах... Перед каждым — персональная курица.

Но веселья нет. Тараканов, Иванов, да если бы только они, остались в земле этого города, о котором никто прежде и не слыхал. И хотя их не поминуют, они не забыты. И я — да разве только я — вижу Яшку Тараканова то между Костылевым и Коготько, то между Борисовым и Волковым. Он то появляется, то исчезает. То с белозубой цыганской усмешкой, то как тогда — в снегу, с ладонями на посеченном пулями животе.

И старшина батареи Пашка Рыжов, московский танкист, который почему-то выдает себя за донского казака, свесив над кружкой спутанный чуб, тихо вздыхает:

— Ну, за ребят, которые сегодня...

И мы пьем, отделенные от них сегодняшней ночью. А завтра вечером, может, выпьют за нас.

Усталость от длинного февральского дня — в бою, на морозе, мягко смешиваясь с теплом случайного дома и жаром ледяной водки, начинает валить с ног. Солдаты засыпают — кто бросив шинель прямо на пол, кто на немецкой кровати с двумя перинами. И я, стянув сапоги, проваливаюсь в черную яму сна. И только чувствую, как укрывают меня косматым теплом полушубка.

...Будит меня не солнце, уткнувшееся в лицо желтыми пальцами, а голос Пашки Рыжова:

— Комбат, за тобой...

На пороге — связной из штаба полка. Ждет, пока я яростно тру лицо холодной водой — Рыжов подливает из котелка.

Ни одной курицы не осталось, солдаты были вчера, как всегда, правы. Приходится довольствоваться одним хлебом. И вот мы идем длинной улицей. Стек-

ла почти во всех домах выбиты, на снегу — черные пятна гранатных разрывов, мертвые немцы...

Попов обводит меня взглядом, и я невольно подтягиваюсь, ожидая «втыка», что небрит. Но, кажется, моя внешность его сегодня не интересует.

— Подойди к столу,— говорит подполковник. И я отмечаю—«на ты». Это хорошо: когда комполка гневался, он становился чрезмерно вежливым. — Так вот. На хуторе, что на опушке, полковые разведчики видели сегодня ночью твое орудие. Выбьешь с хутора фрицев, привезешь сюда пушки. Ясно?

Ясно-то ясно, да у меня людей мало. С оставшимися в живых мне хутор атаковать не под силу. Докладываю об этом Попову.

— Возьмешь в шестой роте, что на мельнице, взвод,— решает комполка. — Выполняй.

Солдаты, не дожидаясь меня, похмелились и позавтракали. Мне оставлен котелок супа. Ем и объясняю солдатам положение. Распоряжаюсь запрячь лошадей в сани,— поедем на мельницу с ветерком, как на свадьбу.

Так и рванули, снег из-под копыт, ребята вповалку в санях. Отойди — расшибу!

Солнце в зените — двенадцать часов. На мельнице рота с четырьмя пулеметами. Под мельницей мерзлые фрицы, убитые во вчерашнем бою.

Командир роты, незнакомый мне лейтенант, встретил нас без восторга.

— Взвода не дам. Сами бросали пушки, сами и отбивайте.

Но заметно скис, когда я спросил, где связь с командиром полка.

Попов отозвался сразу. Выслушал меня, хмыкнул, сказал:

— А ну, дай ему трубку...

Я злорадно смотрел, как комроты вякал в телефон: «Слушаюсь... Слушаюсь...»

А потом, не глядя на меня, приказал:

— Второй взвод — в распоряжение артиллеристов. — И отошел, так и не удостоив взглядом.

Пока собирался и строился второй взвод, я договаривался с Рыжовым:

— Останешься на мельнице. Две зеленых ракеты — значит хутор мы взяли, пускай Коготько на передке скачет вывозить пушку.

— Все понял. Ни пуха тебе...

— К черту!

Старший сержант доложил, что взвод, которым он командует, построен.

И вот они стоят — в две шеренги — незнакомые мне пехотинцы и мои ребята, с которыми воюю уже почти полгода. Речь не речь, а что-то перед атакой сказать надо.

— Сейчас мы будем выбивать немцев из хутора. Вчера их вышибли из Розенгардта. Потеряв лошадь, за хвост не удержишься. Ударим дружно — побегут... Рассыпайся в цепь — справа от меня пехота, слева — батарея. Я в центре.

Вместе с солдатами сбежал по снежному склону.

— В атаку, вперед!

И мы пошли.

Снег глубокий, но идти под гору нетяжело. Хутор молчит. И чем ближе мы подходим, тем сильнее покалывают ледяные иголки ожидания: «Подпускает, гад. Сейчас ахнет. Сейчас. Сейчас...»

И не видишь ни яркого солнца, ни синих теней на снегу. Тело ждет, само ждет встречной пулеметной очереди. И когда мы уже поднимались на изволок к хутору, навстречу застрочили всего четыре-пять автоматов.

Чепуха! «Ура-ра-ра-а!» — покатилося по на-

шей цепи. И стреляя на бегу, бешено матерясь, мы ворвались на хутор. Там уже никого не было. Оставленное для прикрытия отделение немецких автоматчиков отошло к лесу. У меня только двое раненых.

Ребята рассыпались по сараям, искали пушку, проверяя, не остался ли где немец.

И вот она, у стенки сарая, моя родная сорокапяточка. Зеленая краска на стволе давно сгорела от выстрелов. Чехлы тогда не успели надеть, и черт знает, где они. А пушка целехонькая. И только резина колес в черной бахроме от пуль и осколков.

Я не мог отойти от пушки. Стоял и гладил холодный ствол, как лицо любимого человека. Меня окликнул Волков:

— Комбат, здесь фриз раненый.

На мерзлой соломе, перемешанной со снегом, корчился мальчишка лет семнадцати в зеленой шинели. Он жалко и беспомощно прижал ладони к животу, как Яков Тараканов в предыдущее утро. И с ужасом смотрел на обступивших его солдат.

— Не стрелять! Повезем пленного в штаб.

Дважды торопливо взлетели над хутором зеленые ракеты. И помчалась от мельницы пара вороных — Коготько гнал артиллерийский передок.

Подцепили орудие. Посадили на лафет пленного. Разместились как могли сами — от батареи, считай, остался расчет для одной пушки.

— Закрепляйся, пехота, жди своих. А мы погнали.

Победителями примчались к штабу полка. Я шел по коридору, за мной Волков и Борисов несли пленного. Перед нами расступались.

Так и ввалились к Попову. Я — лапу к уху:

— Пушки отбиты. Батарея вырвалась на два

километра из передовых позиций полка. На хуторе закрепляется пехота. Взят пленный.

— Молодцы,— сказал подполковник,— вот сегодня, честное слово, молодцы.

РЕКА

Наткнулись на нее, как на стену, и остановились. Сине-черная, словно тевтонский меч, лежала река Пассарге поперек рыжего глинистого поля. Чуть приподнятые над землей железобетонные колаки дотов встретили нас непроходимым пулевым барьером. А с той стороны, из-за речки, выгибая воюющие трассы, рванулись десятки мин и снарядов.

С ходу такую оборону не прорвешь. Правда, дня через три, когда подтянулись оставшие тылы, командование попыталось это сделать. Полк 76-миллиметровых самоходных пушек пошел в атаку на доты. Меньше чем в пять минут перед пехотными цепями встало шесть полыхающих газойлем костров.

Приказ: «Отойти. Приготовиться и брать доты». А как их возьмешь?

Вермахт ждал нас на этом рубеже. Оборона была здесь продумана тщательно, с немецкой аккуратностью выстроена. Система пулеметного огня прикрывала все подступы к реке, не оставили дыры, в которую хотя бы мышь могла проскользнуть. Стены дотов — два с половиной метра литого железобетона. Снаряды даже тяжелых гаубиц без особого толка лопались у таких стен. Амбразуры закрывались стальными щитами. И когда иной раз случалось пехоте все-таки дойти до дота, фрицы закупоривались в своей крепости, вызывали из-за реки огонь на себя.

Артиллерийские снаряды сметали с купола нашу пехоту, а когда она начинала отходить, распахиались стальные щиты амбразур и в спину били пулеметные струи...

Начинался март. Ветер с Балтики наволок серую кучу мокрых облаков. Дожди размесили черную землю, набухли водой сапоги и шинели. Найти сухой клочок газетки, чтобы свернуть сигарку, и то проблема. Давно небритые, заляпанные грязью с головы до ног, простуженные, злые, топтались мы у реки Пассарге.

Ночью, а здесь все делалось ночью — днем каждое движение стерегли вражеские пулеметчики, — приказали перебросить батарею во второй батальон, поддержать майора Березина.

Пока Волков отыскивал артиллерийские передки, пока они приехали, пока, прицепив пушки, мы волоклись по жидкой глине вдоль полка, начало светать. Оставил людей и орудия в каком-то полуразбитом сарае, пошел разыскивать майора.

Раненый, который, постанывая, тихо телепался с передовой, неся перед собой бережно, как грудного ребенка, толсто замотанную бинтами руку, объяснил, где батальонный КП.

— Идите прямо, значит, до пушки покореженной, а там увидите фрицевский дот. В том доте и майор...

Я пошел быстрее. Интересно увидеть этот самый дот в натуре.

Утонула почти до колесных осей полковая пушка, короткий ствол беспомощно уткнулся в глину, лобовой щит смят взрывом, словно это не сталь, а бумага.

Прикидываю расстояние. Ну да, из этого ору-

дия, подтащив его ночью, били по амбразурам. Приставляли пушку, как наган, к виску дота. А немцы вызвали огонь своих артиллеристов из-за реки.

Дот, который взяли солдаты майора Березина, грузный, оплывший глиной, кажется оглохшим и слепым. В распахнутых амбразурах свистит ветер, стальная дверь, сорванная толлом, валяется на самом берегу. Рядом с ней трупы в ненавистой эсэсовской форме — гарнизон дота. Да и наших немало полегло вокруг... Но главное сделано — дырку в немецкой обороне прогрызли.

А на КП не протолкнуться, народу набилось почти как в трамвай в час «пик». Это и понятно: во-первых, не льет на голову, во-вторых, двухметровые стены и купол — укрытие надежное. Пропихиваюсь к майору Березину. Он сидит у амбразуры, влетают в нее ветер и дождь, бьют майора по лицу, а Березин словно спит с открытыми глазами. Рыжая щетина на подбородке в махорочной крупе, веки багровы и опухли, глаза застыли на какой-то видной только ему точке.

Нарочно громко, чтобы разбудить, докладываю, что прибыл в распоряжение...

— Ну и хорошо, — отзывается майор, — хотя, честно говоря, на кой мне черт твоя батарея днем? Отдыхай до вечера.

А как отдохнешь, если здесь даже сесть некуда? Три яруса пружинных коек привинчены к станкам дота, словно в вагонном купе. И на каждой спят по три-четыре солдата. Спят, привалившись мокрыми шинелями к бетонным стенам...

Я, как и все, почти не спал последние две недели. И засыпаю стоя, ухватившись за железо койки, положив голову на чей-то мокрый сапог. Потом, не помню уж каким образом, я оказался на койке. Потом просыпаюсь и вижу: спит, стоя, командир

батальона, положив голову на мои сапоги. Выскальзываю из-под него, а майор не просыпаясь, валится на мое место.

Встречаясь с не воевавшими, я всегда затрудняюсь ответить на вопрос, который их почему-то волнует: а что самое страшное на фронте? Ну как объяснишь, что самое невыносимое — даже не идти под пулями в атаку, не отбивать самому атаку вражеских танков, самое трудное — быть войны. Не спать неделями, не просыхать неделями, одеревенеть настолько, что спокойно переступаешь через трупы, и не обязательно вражеские.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ДУЭЛЬ

— Смотри,— сказал перед вечером майор Березин, подведя меня к амбразуре,— соседний дот. Ночью поставишь пушку перед ним метрах в пятидесяти. Чуть начнет светать, только-только увидишь его пулеметы — бей в упор! Моя пехота вместе с саперами атакует. Взрываем дверь дота, закидываем гранатами и уничтожаем гарнизон. Твое дело — заткнуть пулеметы. Понятно? Так мы и этот дот брали.

Понятно-то понятно. Да только фрицы вызовут с того берега огонь на орудие. А что они сделали с пушкой,— я видел. Наверное, и расчет накрылся...

А Березин не обращает внимания на мое настроение. И прав — он выполняет боевую задачу, а войны без жертв не бывает.

— Так вот,— продолжает майор,— выделить на такое дело лучший расчет. Сам понимаешь — тут секунды решают. Неплохо было бы, если бы сам пошел с ребятами.

Тоже верно. Не потому, что я стану к прицелу

орудия, этого не надо, наводчики у меня хорошие. Нужно для того, чтобы ребята не чувствовали себя смертниками. Все верно, только знать, что завтра наверняка погибнешь...

— Ладно,— киваю головой.— Что еще?

— Сигнал для атаки—выстрел твоей пушки. Помни: первый твой выстрел—и я поднимаю пехоту.

Шлепаю по глине к сараю, где утром оставил батарею. Издали еще слышу бряканье котелков. Значит, Медведев привез ужин. Это хорошо. Волков встречает меня недовольный.

— Ушли на целый день—не сказали куда. Так не жрамши и ходите. Я тут курицу добыл, сварил. А куда нести,—не знаю.

— Не бурчи,—останавливаю его,—давай свою курицу.

— Только холодная...

Мишка протягивает завернутую в полотенце курицу. Наливает в железную кружку воды. Жую выломанную куриную ногу, слышу, как в темноте скребут ложки по стенкам солдатских котелков. Потом, когда засветились огоньки сигарок, посылаю Волкова за лошадьми третьего орудия. И чувствую, как сразу насторожилась батарея.

— Значит так,—говорю словно между прочим, о чем-то неважном,—пушка Костылева пойдет на выполнение боевого задания. Костылев, Борисов, где вы тут?

— Да здесь мы,—отзывается темнота голосами старшины и наводчика.

— Поставим пушку перед дотом,—продолжаю объяснять,—начнет светать, заткнем огнем амбразуры. Первый выстрел—сигнал атаки. Вот и все.

— Куда проще,— отзывается Костылев.

— Разговорчики, старшина! — обрываю командира орудия. — Возьмете десять ящиков осколочных снарядов. Я пойду с вами.

Но и последняя фраза никаких восторгов не вызывает. Это и понятно: третий расчет идти обязан, ну а то, что решил идти с ним комбат, его личное, как говорится, дело...

Звякают постромки, передок разворачивается у сарая. Цепляем пушку, грузим снарядные ящики... И — пошел!

Темнота — глаз выколи и не заметишь. Тучи задевают ушанку. Дождь как из ведра. На сапоги и на оружейные колеса сразу же наматывается тяжеленная глина. Не едем, а плывем к доту.

Фрицы бросают ракеты редко, в таком дожде они вспыхивают и гаснут, ничего не освещая. И вслепую, наугад проплывают навстречу красные и зеленые трассы пулеметов.

Я иду рядом с лошадью и на миг, когда она остановилась, кладу руку на круп. И ощущаю — ее большое тело сотрясает дрожь страха. Эх, военные кони, фронтовые трудяги! Романов о вас не пишет и стихов не слагают. А вы прошагали всю войну рядом с солдатом, вытянули на себе все повозки и пушки и даже не знали, в отличие от человека, за что умираете, когда входил в вас горячий кусок металла. И после смерти вы продолжали нам помогать уже вареным мясом в ротных котлах и солдатских котелках.

А как вы боялись, фронтовые кони, пуль и осколков! Как понимали, что именно они несут смерть. Но не убегали, а шли под свинцовый дождь.

Ставят же на постаменты нарядные, свежееккрашенные «тридцатьчетверки». А почему бы не поставить вылитый из бронзы памятник военной ло-

щади. Не этакому Буцефалу, который годится под седло маршалу. А обычной коняге, которая из последних сил, напружинив все жилы, волокет под огнем пушку...

Подъехали к доту благополучно. Быстро — коней обратно, оружие — в боевое положение, между разведенными станинами — ящики снарядов. А расчет я повел до рассвета в дот, в котором коротал день.

Рассвет близится. Возле дота позвякивает оружием стрелковая рота — ей атаковать. Пришло трое саперов, горбатые в темноте от тяжелых мешков со взрывчаткой. Мои ребята, привалившись к бетонным стенкам у входа в дот, смолят одну сигарку за другой... Я поглядываю на майора Березина, жду, когда он станет выводить роту на исходный рубеж, тогда и я поведу расчет к орудию. По моим прикидкам осталось до боя полчаса. Все внутри уже стянуло, напряжено как тугая пружина.

Голос телефониста из дзота: «Товарищ майор. Первый вызывает...» Волнуется, видать, комполка, сейчас ему Березин доложит о готовности и, снова смотрю на часы и на небо, пора к пушке...

Ответив дважды «да» и три раза «слушаюсь», майор передает трубку телефонисту и командует: — Атаку отставить! — и мне: — Пошли к командиру полка — вызывает.

Что там еще стряслось? Шлепаю за майором, пытаюсь сообразить: к добру или не к добру отменяют бой?

А в штабе полка суматоха: связисты сматывают провода, писари жгут ненужные бумаги, подполковник Попов в полушубке и шапке, стоя, торопли-

во допивает чай. На столе, прямо на карте,— офицерский ремень с пистолетом.

Когда мы с Березиным входим и докладываем, комполка кивает на табуретки: мол, садитесь, снимает с карты кобуру пистолета.

— Вот здесь,— палец его ложится на стрелу, прочеркнутую красным карандашом,— правее нас пятнадцать километров, пока мы топтались на месте, форсировали Пассарге и захватили плацдарм на том берегу. Немцы непрерывно контратакуют, чтобы сбросить солдат обратно в реку. Нашу дивизию срочно перебрасывают на этот плацдарм. Через час мы должны быть там и вступить в бой. Промедление буду рассматривать как саботаж и дезертирство. Ясно, товарищи офицеры?

И после нашего: «Так точно!» — уже персонально мне:

— Пушки на конной тяге — они должны быть на плацдарме прежде пехоты. Захвати побольше бронебойных — фрицы атакуют танками.

А у меня одна пушка под носом у дота. Бросить ее не могу. Что придумать?

Первым делом — бегом на батарею. Приказ командиру первого взвода Яковлеву:

— Бери три орудия, грузи подкалиберные снаряды, сажай людей на лафеты и — рысью на плацдарм. Я тебя потом найду. Мне придется остаться — надо спасти пушку Костылева. Да оставь мне по одному солдату из каждого расчета, — а то орудие не вытащим.

Если бы у меня был командир второго огневого взвода, я бы, разумеется, ему поручил спасение пушки. Но пока еще одного офицера на батарею не прислали, командовал и батареей, и своим вторым огневым взводом.

Отступали копыта по дороге. Ушла батарея на

переправу. И стоим мы впятером — я, Волков и еще три солдата — на мокрой дороге. И тут вижу, что один из моих бойцов укутан поверх шинели каким-то мешком. Это белорус с чудной фамилией — Бородака, известный на батарее тем, что может убить, ощипать и сварить курицу за рекордно короткий срок — за двадцать минут.

— Замерзнуть боишься? — обрушиваюсь на солдата. — Не бойся, работа будет жаркая. Скидывай мешок к чертовой матери!

— Так, товарищ комбат, — жалобно говорит Бородака, — шинель я спалил, просил у Волкова вашу кожаную курточку, так он не дает...

Куртку Волков раздобыл — заглядение: хромо-вая, светло-желтая, с четырьмя «молниями» на карманах. Я сам ее не носил в эту грязюку — боялся захлюстать. Но нельзя ведь, чтобы солдат ходил под дождем голый.

— А ну, не будь жлобом, — обращаюсь к невозмутимому Мишке, — отдай человеку куртку.

Мишка пожимает плечами: мол, хозяин — барин, протягивает Бородаке куртку. И обтянутый желтым хромом, тот неожиданно становится видным и ладным парнем...

Но история с курткой шла где-то поверх сознания, внутри было вбито раскаленным гвоздем — как вытащить пушку?

Катить надо на руках — это ясно. С лошадьми под пулеметы соваться нечего. Нас пятеро, пятеро в расчете Костылева — десять здоровых мужиков, пушку вытянем даже по липкой глине. Но без огневого прикрытия ничего не выйдет — положат пулеметчики. А где его взять, прикрытие?

Боевые части полка уже ушли. По дороге тащатся обозы. Десятый раз обшариваю безнадежным взглядом все вокруг, пока на ум не приходит —

зенитчики... Ну да, как я сразу не сообразил—вон, на бугре, счетверенная установка ДШК, зенитных крупнокалиберных пулеметов. Вот только кому они подчиняются, смогу ли уговорить?

— Ждать меня здесь! Волков, за мной!

И мы, чавкая сапогами, лезем на высокий бугор.

Пожилой старшина, командир установки выслушал просьбу, и мы вышли из землянки в окоп — к установке.

— Вон дот,— навел я на зловеще молчащие амбразуры перекрестие стереотрубы, дал посмотреть старшине. — Перед дотом пушка. Видишь? — Он кивнул головой. — Даю зеленую ракету — ты па-лишь из своих четырех стволов по амбразурам. Прекращаешь огонь, когда я оттащу пушку вон к тем кустам возле разбитого сарая. Все ясно? Тогда жди ракеты.

Остальное просто. Собрал людей. Прочертила небо пущенная Волковым зеленая ракета, и четыре трассы ДШК хлестнули по доту. А мы бегом к пушке. Вцепились вдсятером в лафет — подталакивать колеса и щит, как обычно, опасно — весь на виду, — поволокли орудие по размокшей пахоте к сараю. Мы тащили пушку, а над нами грозно и успокоительно свистели очереди зенитных пулеметов.

Когда мы уже были у спасительных кустов, старшина прекратил огонь, все путем, как и договаривались. Я разрешил курить, только напомнил — из-за орудия не высовываться. И недоглядел — Бородака, дымя цигаркой, выпрямился над броневым щитом. С той стороны, от дота, треснул выстрел. Один единственный. На него никто бы не обратил

внимания, если бы Бородака, вскрикнув не свалился на Костылева.

Подвела солдата шикарная куртка — снайпер принял его за офицера.

Хоронили мы Бородаку торопливо — надо было спешить. В девять лопат вырыли неглубокую яму. И прямо на этот ярко-желтый проклятый хром посыпались земляные комья...

НА ПОДСТУПАХ К БРАУНСБЕРГУ

Браунсберг мы видели раньше только на картах. Из-за правого западного обреза двухверстки выползал край разлапистого, как можно было догадаться, крупного населенного пункта. Между нами и городом торчал гребень безымянной высоты.

На карте, прямо на этой высоте, чернел прямоугольничек с надписью: «Школа». В натуре никакой школы не было: на полуразмолоченной взрывами земле темнел остов здания, оскаленный пулеметными очередями. Шесть раз брали эту школу, шесть раз нас выбивали из развалин. На скатах высоты не осталось живого места: воронки плотно, одна к одной, испятнали землю, нашпигованную нашими и немецкими минами, опутанную нашей и немецкой проволокой.

Седьмой раз мы атаковали проклятую высоту перед вечером. И к темноте взяли. Пехота закрепилась в остатках разбитого фундамента. Пушки остановились метрах в шестидесяти от пологого склона: мы ждали саперов — я не хотел калечить на минах людей и лошадей.

Волков натянул поверх окопа плащ-палатку, пробурчал: «Располагайся», — и исчез. Минут через двадцать он опустил в окоп котелок чуть тепло-

го супа, два сухаря и флягу. Кухня на передовую приезжала дважды в сутки: перед рассветом и с наступлением темноты. Это и понятно — днем повар ничего не довез бы до солдат. А за долгий день на морозе, да еще под пулями, ох как жрать хочется.

С жадностью, торопливо потянул клейкую жидкость с какими-то крупами прямо через край котелка. Не успел перевести дух, зашуршала над головой плащ-палатка, начальник батальонного штаба Селезнев сказал:

— Подвинься, комбат.

Он осторожно опустил в кромешную тьму окопа длинные ноги, прыгнул и, усаживаясь в углу на пустой снарядный ящик — единственную мою мебель, — щелкнул трофейной зажигалкой. Я дохлебал суп, сунул котелок на бруствер и потянулся к огоньку его сигарки немецкой сигаретой.

Начинать разговор мы не торопились — знали друг друга давно. И без особого труда могли угадать, кто что скажет.

Командир стрелкового взвода, младший лейтенант Витька Селезнев, в полку появился около года назад. Был он долговязым парнем абсолютно рязанского обличия: белесые волосы и голубые глаза. Больше ничем не выделялся из других взводных. А поди ж ты — стал первым в полку Героем Советского Союза.

Было это так. Стрелковая рота на трех самоходках по ошибке влетела в село, занятое немцами. В сумятице неожиданного боя убило командира роты. Витька не растерялся: поставил на площади самоходки треугольником, беззащитными тупыми задами друг к другу, и, огрызаясь осколочными сна-

рядами и автоматным огнем от батальона фрицев, держал круговую оборону. Витька связался с полком по ради и попросил «указаний». Приказали — держаться.

Было это в Белоруссии, под Бобруйском. Полк шел неспешным маршем по широкой пыльной дороге. От жары добела выцвело небо, ястребы скользящими точками поднялись на такую высоту, что стали едва различимы. Люди устало волокли ноги, липкая пыль забивала ноздри. И вдруг приказ: «Бегом марш!»

Даже артиллерийские кони после полукилометровой скачки почернели от пота. Зеленая пена мокрыми шматами падала в пыль. Мы бежали в густом слепящем облаке, поднятом солдатскими сапогами.

Когда на виду села пехота стала разворачиваться в цепи и хриплое «ура» покатилося вверх, к избукам фрицы, бросив самоходки и Витьку, побежали.

А за селом единственная дорога шла по гати между двумя болотами. Не дожидаясь пехоты, Селезнев вывел самоходные пушки на околицу и ударил по немцам, бегущим по гати, прямой наводкой. До ближайшего леса, пожалуй, никто из них и не добрался.

За эту операцию Витька и получил Героя.

В полку Селезнева любили, парень он был хороший. Но привычка решать все с маху у него осталась. Потому я и знал, какой разговор у нас сейчас состоится.

— Собирай хурду-мурду и давай с пушками к школе! — Капитан Селезнев высился надо мной телеграфным столбом — стоял в углу окопа, затапты-

вал огонек сигарки. Я сидел напротив него на корточках.

— Пока саперы не расчистят дорогу — не поеду. Не могу лошадей гробить.

Ответ у Витьки уже продуман:

— Покатишь на руках. Потерю в людях возмещу после боя.

— Чем возместишь? Пехотой? А ты знаешь, сколько времени надо, чтобы путного наводчика сделать?

Голос капитана аж закрипел от злости:

— Мне с тобой некогда свататься. Ты понимаешь, что будет, если немцы бросят на высоту танки?

— А ты понимаешь, что будет, если у меня еще до боя не станет людей? Без саперов — с места не тронусь.

Спор был возможен еще и потому, что напрямую батальону я не подчинялся. Полковая батарея была придана только на время боя. Поэтому и слова начшатаба звучали наполовину приказом, а наполовину пожеланием.

Но Виктор решил своего добиться. Я услышал, как щелкнула срываемая с застежки крышка кобуры, увидел в руке капитана тусклый ствол нагана...

— Стрелять не советую, — сказал я, чувствуя как бешенство перехватывает горло. — Убьешь, тебя мои ребята из окопа не выпустят.

— Выпустят, — выдохнул Виктор.

Так мы постояли минуты две. Потом Селезнев сунул наган за отворот своей щегольской офицерской шинели, опустил на корточки и — словно никакой стычки не было:

— Покурю, схожу к школе, погляжу, как там солдаты устроились. А ты вместе с саперами приходи...

Я жадно глотал табачный дым. Успокоившись сказал:

— Подождал бы ты тоже саперов — на этой высоте мин понатыкано.

— Знаю, — отозвался Виктор. — А идти один черт надо.

Он легко вытянул из окопа длинные ноги и ушел в темноту.

Принесли его через полчаса без ног. А меня ранили назавтра в бою за Браунсберг, и я догнал Виктора Селезнева в госпитале. Наши койки стояли рядом. По ночам, когда капитан думал, что его никто не слышит, он скрипел зубами, закусывал край одеяла, звенели пружины от сотрясающего тело плача.

Я не лез к Витьке с утешениями. Ну что ему скажешь?

Не бравый офицер, Герой Советского Союза, а деревенский парень, только-только начавший жить, навеки искалеченный, плакал возле меня по ночам. А днем смотрел сухими, воспаленными бессонницей глазами в потолок. И курил беспрерывно. В палате было много тяжелых, которым не до курева, и табаку хватало.

А Браунсберга мы с ним так и не увидели.

долгий путь к дому

Качает на рельсах вагон санитарного поезда. Везут нас из одного эвакогоспиталя в другой. Это и понятно: в госпитали первого эшелона идут сплошным потоком раненые с передовой, а нас, чуть подлечившихся, отправляют дальше.

Вагон — обычная теплушка. По обеим сторонам прохода — двухэтажные нары, укрытые плащ-палатками. В центре — печка, ящик с углем, бачок с водой. На остановках входит медсестра: «Все живы? Кому помочь? Держитесь, ребята, — на следующей станции будем обедать».

В вагоне не все лежачие. У меня, к примеру, пробито плечо — имею в полной исправности две ноги и руку. Таких, как я, человек пять. Мы и осуществляем во время движения медицинскую помощь: одному раненому подашь «утку», другому — кружку с водой, третьему — свернешь сигарку... Дела хватает.

Мне, можно сказать, сказочно повезло. Слева от меня прошел сноп разлетающихся осколков. Срезало левое «ухо» шапки, перерубило левый погон, разрезало шинель, меховой жилет, гимнастерку, — цела осталась только нательная рубаша, — пройди осколок правее сантиметра на два и — хана. Лохмотья и рванье на мне заскоружило от крови, шуршит и топорщится. А главное, набухла кровью и гноем повязка на раненом плече, зудит под ней и болит. А медсестренка только уговаривает: «Потерпи, голубчик. Приедем — сразу тебя на перевязку». И наматывает поверх промокшего бинта новый.

На восьмой день сестренка радостно сообщает: «Приехали, родненькие, отмучились и вы, и я с вами, — город Двинск, офицерский госпиталь...»

Не буду описывать высадку из вагонов, тряску в автобусах, когда каждый ухаб загоняет раскаленный гвоздь в рану, перевязочную, где заскоружлое колесо бинта сорвали одним рывком, да так, что из глаз брызнули слезы... Наконец все позади. Постриженный и побритый, в чистом белье, со свежей, белоснежной повязкой, рана под которой, если и не перестала болеть, то перестала нестерпимо зу-

деть, на пружинной кровати, между двумя простынями, лежу, как фон барон. И к тому же — в тебя не стреляют и тебе ни в кого стрелять не надо. Филиал рая на Земле.

Госпиталь от города Двинска, нынешнего Даугавпилса, в двенадцати километрах. Асфальтовое шоссе, черно-синий ремень, бежит вдоль сине-черной Западной Двины, широкой, спокойной и неприветливой. Но все это я увижу позже, — пока мой мир ограничен видом из окна, где сосны, раскачиваясь, расталкивают в небе облака, и палатой — небольшой комнатой на пять коек.

А что меня из Германии завезли в Прибалтику, пока не волнует, я даже не задумываюсь, что попал в госпиталь другого фронта и выбраться отсюда на свой, 3-й Белорусский, к своей батарее, к Костылеву, Борисову, Яковлеву, Волкову, — почти невозможно.

Пока идет блаженное ничегонеделанье, сплю и ночью и днем, продираю глаза только, когда приносят еду или зовут на перевязку. Сплю, словно возможно наверстать все часы сна, которые отобрала война, да еще прикопить про запас.

Но вот однажды утром чувствую, что выспался от пуза, как говорили на передовой, баста, да и плечо стало как-то само собой заживать. «Молодой, — довольно ворчит хирург, похожий на земского чеховского врача, — вот и зарастает, как на собаке...»

Мои соседи по палате — два лейтенанта, капитан и майор — проводят время по-разному. Лейтенант Мишка рыжий и капитан просиживают часами над шахматной доской. Лейтенант Мишка черный, — ему скоро на выписку, крутит роман с поварихой. Май-

ор, у которого ампутирована нога ниже колена, часто пишет письма жене, а больше лежит на койке — лицом к стене. Я пишу письма редко — мать не жена, простит, к шахматам отношусь спокойно — сыграю партию, выиграл — хорошо, проиграл — тоже ладно. А отдохнувшее тело наливается силой, хочется куда-то пойти, кого-то увидеть. Но куда пойдешь, если на тебе нателное белье, застиранный халат из байки и тапочки?

Впрочем, — это военная тайна — в палате есть сборное обмундирование на одного человека. Штаны пронес Мишка рыжий, гимнастерку — Иван Васильевич, капитан, фуражка — майора, шинель — Мишки черного. И даже личное оружие — мой парабеллум, ТТ — капитана, вальтер — Мишки рыжего. Хоть круговую оборону держи. Ну и пять пар кирзовых сапог, их почему-то не отобрали. И вот, каждое утро после завтрака один из нас облачается в полную офицерскую форму и «пикирует» в город. Когда на меня первый раз натягивали гимнастерку, силой разогнули левую, раненую, руку, чтобы пропихнуть ее в рукав, от резкой боли чуть не потерял сознание, но отдышался, успокоился и, не торопясь, почапал навстречу приключениям.

Вернулся в госпиталь под утро. Принес ребятам бутылку самогона. Сели выпивать. А меня черт дернул не переодеться, так, в тайно пронесенном в госпиталь обмундировании и сидел на койке... Никого в такую рань не ждали, до подъема было еще часа полтора. Когда неожиданно вошла Вера Степановна, лечащий врач, педант и ханжа, и притворно ахнула, словно сроду не видала выпивающих мужиков, стало ясно — заложит. А главное, углядела она на моем поясе пистолет (хранить оружие в госпитале запрещалось).

Меры мы приняли безотлагательные: обмундиро-

вание припрятали в других палатах, парабеллум взял на хранение майор. Завтракали пай-мальчиками, смирно и тихо. А через полчаса меня вызвали к начальнику госпиталя.

И вот в белье и халате, как положено, стою у него в кабинете. Подполковник медицинской службы, седоватый с элегантными английскими усиками, пробритыми под носом двумя полосками, не глядя на меня, перебирает бумаги. Стою, жду, чувствую, как закипает злость: что он — играть в молчанку меня вызвал? А подполковник, помолчав еще минуты четыре, наконец изволил поднять глаза.

— Сдайте оружие и обмундирование, будем считать инцидент исчерпанным.

— Обмундирование не мое, поэтому сдать его не могу. Пистолет — подарок убитого друга...

Вроде объяснил все правильно.

А он вдруг зашел с другого края, я сразу даже не понял, куда клонит.

— Мы собирались разрабатывать вам плечо. На это ушло бы месяца полтора. А за это время, глядишь, и война кончится, на передовую не попадете...

Покупает! И все презрение мальчишки-фронтовика к тыловикам, которое накопилось за войну, жаром плеснулось во мне:

— Пистолет не сдам — вы мне его не давали. А передовой пугайте тыловых крыс. Могу покинуть госпиталь хоть сегодня.

Подполковник побагровел, встал:

— И покинете. После обеда получите документы.

К вечеру, надев новенькое солдатское хэбэ и демонстративно щеголяя кобурой с парабеллумом Толи Малютина, я прощался с госпиталем.

Оба Мишки горячо одобрили мое героическое

поведение, капитан промолчал, а майор, пожимая руку, неожиданно сказал:

— Подполковник жалел тебя, дурака. Сдал бы свою игрушку — жив был бы. А так к самой мясорубке поспеешь...

Задерганный капитан штаба офицерского резерва, к столу которого длинная, нетерпеливая, нескончаемая очередь, даже не дослушал мою просьбу — направить обратно на 3-й Белорусский...

— Мы посылаем только в Земландскую группировку войск. Следующий...

И вот сижу в опустевшем бараке — офицеры, получив предписания, разошлись — и тупо смотрю на бумагу: «В штаб артиллерии ЗГВ». Значит, к себе в полк не попаду уже никогда. А мой полк, моя батарея — это же мой родной дом, меня там знает каждый, и я знаю не только каждого человека — каждую лошадиную морду. Я скучал по своим ребятам в госпитале, представлял радостную рожу Волкова, вздрогнувшие в улыбке усы Костылева над желтыми прокуренными зубами... И вот, на тебе — больше никогда не увижу. И ничего не поделаешь — предписание не исправишь...

Постой, постой, почему не исправишь? «З» исправлять не надо, оно и так похоже на цифру три. Из «Г» сделать «Б» элементарно просто. А как «В» переделать в «Ф».

Я еще не решил последнего вопроса, а уже отыскал чернильницу-невыливайку — ребята писали письма. В полевой сумке у меня металлическая ручка, которая до войны заменяла самописку — в один конец вставлялось перо, в другой — огрызок карандаша. Дрожащими руками достаю ручку, перо ржавое, в кружеве какой-то трухи, но це-

душки годится, а пожилой человек недоуменно разглядывает мое засаленное и потрепанное, заляпанное множеством печатей «предписание»:

— Тут какая-то путаница: госпиталь, в котором вы были на лечении, не входит в наш фронт. Следовательно, направить вас к нам не могли.

Что я могу сказать? Что подделал документы? Выдаю себя за тупого службиста, вытягиваюсь и гаркаю:

— Не могу знать, товарищ генерал!

— И предписание у тебя какое-то не вызывающее доверия,— начинает сердиться генерал.— Не могли тебя послать за столько верст киселя хлебать. Тут что-то не то. Понимаешь?

— Никак нет, товарищ генерал!

— Что ты темнишь, парень? Может, служил до ранения на нашем фронте?

— Так точно! — радостно гаркаю я. И называю номера дивизии и полка.

— Что ж,— усмехнулся генерал,— это даже в хорошей армейской традиции — всеми способами добираться до своей части. Значит, тебе не все равно, где и с кем служить. Похвалить конечно не могу — нарушение дисциплины, а по-человечески понимаю...

Он расчеркивается на моем документе, и сразу тот, липовый, подделанный, становится настоящим.

На попутных машинах не доезжаю — долетаю до штаба своей дивизии. Здесь я действительно наконец дома. Здесь меня помнят, здесь мне рады. В столовую ведут и кормят, не спрашивая никаких продаттестатов.

— Пока ты в госпитале валялся, пришел Указ Президиума Верховного Совета о награждении тебя аж двумя орденами — Отечественной войны I и II степени, бери шило, буравь в гимнастерке две

дырки. И в погоне заодно — ты теперь старший лейтенант...

И вот она, моя батарея. И все исполнилось, как в самом лучшем сне: засветились радостью темные монгольские глаза Мишки Волкова, засуетился Павел Евграфович Медведев и вскоре принес котелок пончиков, которые обжигали пальцы. Подходили, здоровались Костылев, Борисов, Трясцин, Коготько... И хотелось обнять ребят, расцеловать их родные милые лица.

Я вернулся домой! А тот, московский дом, где я жил до войны, отодвинулся в памяти так далеко, стал настолько отдаленно-неправдоподобным, что его и домом-то нельзя называть...

Даже мой комвзвода, лейтенант Михаил Яковлев, я чувствовал, рад моему приезду. А ведь с тех пор, когда меня назначили командиром батареи, отношения с Яковлевым сложились трудные, непростые. Михаил, очевидно, считал, что после Гурина комбатом должен стать он. Приказы командира полка не обсуждают, и все-таки...

И в тот, первый мой радостный день приезда на передовую решил: надо поговорить с Михаилом, как мужик с мужиком, — не наплевать ли нам, не кадровым офицерам, кто чем командует? Кончится война, уйдем из армии, разъедемся по своим городам и весям. А пока надо делать одно главное дело — бить фашистов. На словах все получалось хорошо и правильно.

МЯНО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ

День солнечный, ясный, апрельский. Высокие **красные** сосны. И легкий, белый, сыпучий песок **приморских** дюн. Ветер пахнет солью — до Балти-

ки километров пятнадцать — двадцать, моря еще не видно, но уже чувствуешь: ворочается оно где-то за горизонтом.

С каждым днем ближе конец войны. За нашими плечами Кенигсберг, русские солдаты на подступах к Берлину. Кто уцелеет в эти последние недели, тот будет жив наверняка. Это понимает каждый. И моих ребят в апрельские дни сорок пятого словно подменили. Все трудней командовать батареей: люди, которые бесстрашно прошли сквозь войну, — им в бою можно было верить, как себе, — начали вдруг чрезвычайно бережно относиться к собственной жизни. Раньше меня понимали с полуслова, а теперь приходится иной раз и орать, и стыдить, и размахивать пистолетом. Умирать никто не хочет, каждый теперь исступленно мечтает выжить. А война не кончилась, немцы цепляются за каждый хутор, за каждый бугорок, и, чтобы выпихнуть врага, отбросить еще на километр к холодному берегу Балтики, надо драться, не жалея себя. А не жалеть себя солдату становится все труднее.

И нынешний бой ничем не отличался от предыдущих. Батарея поддерживала две роты третьего батальона. Отвел взвод новенького офицера, младшего лейтенанта Андрюшки Савина к седьмой роте, растолковал, показал на местности, что и когда делать и, не торопясь, пошел к восьмой роте: там должен быть с пушками Мишка Яковлев, командир опытный, бывалый, его учить нечему.

В сосновой рощице, где пехота скопилась для броска в атаку, ко мне рванулся комроты, старлейт Иванов. Он схватил меня за ремень и закричал — шепотом, чтобы не слышали солдаты, — а от этого еще злее и яростней:

— Где твои пушки? Атака через тридцать ми-

нут — артиллеристов нет! Ты, что, сдурел, мать твою так и этак! Где пушки?!

— Не ори! — отлепил я его потные пальцы от своего ремня. — Пушки будут в срок. Сейчас приведу...

И бегом в ложину, туда, где оставил взвод Яковлева.

Еще издали увидел: пушки не собираются ехать на огневые. На солнечном припеке покачивают головами лошади — доедают в нацепленных на морды торбах овес. Солдаты безмятежно греются на лафетах, раскуривая сигарки. А сам Яковлев — чувствует кошка, чье мясо съела, — как-то испуганно и торопливо встал, увидев меня. Выяснять, почему взвод устроил себе санаторий, некогда.

— Цепляй орудия! Ездовые, к дьяволовой маме овес! Расчеты, садись! — вскочил на передок пушки. — Рысью марш!

Поскакали. За пять минут до начала атаки развернули орудия на опушке. Я вел огонь, не обращая на Яковлева внимания, словно его нет во взводе. А когда рота ушла вперед и ворвалась на хутор, оглянулся: Мишка Яковлев топтался за моей спиной, не поднимал глаз. Видно, что мужику стыдно и тошно. Ну что его воспитывать, небось сам все понимает.

— Давай позавтракаем, — предложил я.

Мы отошли в сторонку, заняли окоп командира роты — пули еще посвистывали между соснами. Он был вырыт у подножия огромной, уходящей рыжей волонной в небо сосны.

Яковлев спрыгнул в окоп, я сел на бруствер, лицом к Мишке, опустил в яму ноги.

— Ты меня прости, пожалуйста. Не знаю, что со мной сегодня. Не могу ехать — и все, прямо-таки чувствую — убьет меня в этом бою.

— Так ведь живой остался...

— Потому и стыдно. Правильно говорят — все эти предчувствия ерунда. Им верить — воевать нельзя. И еще прости — я на тебя зуб имел... Почему, думаю, — ты комбат, а не я... Ну, и всякое такое. Все казалось ты не путем делаешь, я бы лучше. Только после Розенгардта перестал так думать. Ты уж извиняй...

Яковлев волновался, покраснел, не подымал глаз от бруствера.

Я положил руку ему на погон.

— Ладно, Миша, кто старое помянет...

Он наконец оторвал глаза от земли.

— Так что ты прости и за сегодняшнее и вообще... Давай выпьем.

Выпили. Я был рад, что разговор состоялся, что мой комвзвода не держит на меня камень за пазухой. А Яковлев, сбросив с плеч многомесячный груз тяготившей нас обеих неприязни, повеселел. И что с ним никогда не бывало, стал рассказывать о себе:

— Понимаешь, я два года назад был в госпитале. Сошелся там с одной, лейтенантником медицинской службы. Ну, поначалу думал — обычный военно-полевой роман. С кем не бывало. А она, Нина, письма пишет. Ну, написала — беременна от меня. Я, значит, отвечаю: рожай. Думаю, убьет — хоть что-то на земле от Мишки Яковлева останется... И вот растит теперь пацана, тоже Мишкой зовут, Михаил Михалыч, значит. Кончится война, демобилизуюсь, будем жить втроем. Пишет — приезжай, ждем...

Яковлев достал из кармана гимнастерки две фотографии: на одной шурилась от солнечного света девчонка в берете со звездой, на другой — голенький, как положено, на расстеленном одеяльце

испуганно пялился в объектив толстощекий пацан, очень похожий на военную девчонку.

— Правда, на меня похож? — спрашивал, улыбаясь, Яковлев.

— Вылитый ты. Словно на одной болванке формовали, — подтвердил я, хотя найти какое-либо сходство между пухлым младенцем и лейтенантом не мог.

Выстрел — и через секунду разрыв. Снаряд угодила в сосну над нашим окопом. Перебитая надвое, она рухнула макушкой на окоп, сшибла меня с бруствера, вбила в узкую яму, пребольно стукнув толстым суком по голове. Стоя возле Яковлева, я успел оглядеть его, подумать — вроде цел, раны не видно. Услышал команды командиров орудий, значит, танк из-за холма вылез... А Яковлев вдруг стал валиться на меня.

— Ранен, Миша? — спрашиваю, упираясь в плечи, прижимая к земляной стене обвисающее тело. — Куда?

— Меня оглушило, — четко и ясно выговорил Яковлев.

Я подхватил его за лацканы шинели и тут только увидел узкий и длинный, как след ножа, след ударившего осколка. Отогнул лацкан шинели — там, где положено быть левому карману, — в груди дыра, хоть кулак туда всовывай. А на дне окопа две фотографии...

Мы похоронили Яковлева в окопе, где его убили. Отдал ребятам его пистолет и бинокль, себе взял на память немецкий компас. Он закрывается крышечкой, в которую с внутренней стороны вделано зеркальце. И не один год это зеркальце мне служило.

Еще вынул я из правого кармана Яковлева офицерское удостоверение и партийный билет. Их на-

до отдать в штаб. А из полевой сумки — пачку писем. Мне надо сообщить матери и Нине, что Михаил Яковлев пал смертью храбрых.

И вот, стоя над могилой (Василий Трясцин, командир первого орудия, выжег на фанерке раскаленным шомполом имя, фамилию и даты: 1918 — 1945), кусая губы, чтобы не заплакать, думал: «Ну, когда это кончится? Сколько мне еще хоронить друзей? Сколько еще писать матерям и вдовам похоронки? А, может, и меня убьют за неделю, за два часа до конца войны?»

Соленый ветер Балтики качал сосны. Расчеты прицепили орудия к передкам, ждали меня. Война всех нас ждала, громяхая пушками за первой же высотой. Как не хотелось погибать в ясный солнечный апрель тысяча девятьсот сорок пятого года!

ГЕНЕРАЛ

Для солдата, командира взвода или роты — комдив так высоко и далеко, что относятся к нему, как к богу, почтительно-равнодушно. А нашего комдива любили. И гордились тем, что в Гражданскую командовал он эскадрой Первой конной... Это понятно: война, окружавшая нас, была попросту бытом, а конная Буденного успела стать легендой.

Он был небольшого роста, наш комдив, с красивым лицом пожилого, много бывающего на ветру и морозе человека. Старый сабельный шрам полосой рассекал ему щеку — от виска до подбородка. Когда же комдив краснел еще пуще, а шрам становился белей только что наложенного бинта, все знали: быть грозе.

Первый раз я испытал ее на себе так. В усадьбе какого-то немецкого помещика мое мальчишеское сердце прямо-таки обольстила карета.

Какая это была карета! Чернело дьявольской чернотой отлакированное дерево высокого кузова, баронские короны бронзовели на дверцах, два старинных фонаря только и ждали, чтобы в них вставили и зажгли восковые свечи... Добрая старая Англия, Диккенс, крошка Доррит и мистер Пиквик!

Внутри она оказалась еще обольстительней. Зеленый атлас обивки, мягкие сиденья, вместительные ящики. Я приказал запрячь в карету лошадей, и двинулся по фронтовым дорогам этот старинный экипаж, ловко выныривая высокими колесами из ям и колдобин.

Так появилась в полковой колонне необычная кавалькада: черная, уже, конечно, не отлакированная до глянца, а забрызганная грязью баронская карета, а за ней — четырехорудийная батарея. Это стало настолько привычным, что на карету никто не обращал внимания, а командиры стрелковых рот, которым придавалась батарея, шли ко мне «в гости» — укрыться от ветра и дождя, посидеть, побалагурить.

Но, как говорят умные люди, ходит птичка весело по дороге бедствий...

«Виллис» комдива обгонял колонну. И, наверное, качавшийся на гибких рессорах лакированный кузов напомнил ему не Диккенса.

Комдив остановил машину.

— Чья карета? — загремел он на всю округу. — Какой дурак это придумал?

Дурак в моем лице стоял возле кареты. Ни одним словом я не мог приостановить лавину рухнувшего гнева. И даже в темноте разглядел белую полосу шрама на щеке комдива.

— Распустились! Разгильдяи! Не Советская Армия, а банда батьки Махно! Кареты, фаэтоны, ландо себе завели!

Я понимал, что карета действует на комдива, как красная тряпка на быка. Но сделать ничего не мог. Стоял громоотводом и принимал на себя начальственные молнии. К счастью, расчет первого орудия пришел на выручку. Лакированное старинное дерево затрещало под топорами. Через несколько секунд от кареты остались только высокие колеса.

Комдив молча смотрел, как разваливалась баронское великолепие, потом хлопнул дверцей «виллиса» и уехал, забыв спросить у меня фамилию.

До этой встречи на темной дороге я видел комдива, когда он определял офицеров после армейских курсов по ротам и полкам, да еще один раз прежде.

После тяжелых боев в Белоруссии дивизию отвели во второй эшелон. И не успели мы отоспаться — приказ: общее построение.

Построили дивизию квадратом, и в его центр, на скрещение взглядов, и вышел комдив. Все знали, что он полковник. А сейчас комдив был в новенькой генеральской форме.

— Солдаты, сержанты, старшины и офицеры, — начал было строго по уставу комдив, но тут же голос у него потеплел и дрогнул, — сынки мои, спасибо вам за ваши труды ратные.

Комдив снял фуражку и четырежды поклонился в пояс четверем дивизионным шеренгам. Затем надел сверкающий золотом генеральский картуз, приложил руку к козырьку:

— Благодарю дивизию за службу!

Наше троекратное «ура» было громким и дружным не только потому, что так положено отвечать по уставу.

...Бой неизвестно за какое по счету германское село. Между сосновой рощей и околицей села — снежное поле. Его пересекает лощина. На дне залегла наша пехота. А из-за крайних домов то и дело выскакивают тяжелые немецкие самоходки и бьют по пехоте. Огонь наших орудий, которые стоят на опушке, не дает немцам пристреляться. И сделав наугад два-три выстрела, самоходки уползают за дома.

Генерал появился на огневых внезапно, как с неба свалился. Он вышел прямо к пушкам, опираясь на высокий, прямо-таки библейский посох. За ним адъютант и два автоматчика.

— Артиллерия должна сопровождать пехоту огнем и колесами,— начал генерал негромко, лицо его стало багроветь, а сабельный шрам белеть. — Почему нарушаешь Боевой устав? Почему отстал от пехоты? Шкуру свою бережешь?!

Мои слова, что, спустившись в лощину, я не могу стрелять, пехота останется без защиты, генерал не дослушал. Он огрел меня библейским посохом по спине:

— Марш к пехоте! Люди гибнут, а ты тут болтовню разводишь! Чтоб через десять минут там был!

И, закуривая папиросу, добавил:

— С моего НП это поле видно. Не выполнишь приказа — пойдешь под трибунал. Понятно?

Чего уж тут непонятного! Генерал ушел, а мне надо думать, что делать. Выполнить приказ я не мог: скатив пушки в низину, погубил бы и батарею пехоту. Не выполнить приказа тоже не мог: а вдруг командув с НП видно эту лощину?

— Костылев, снимай с пушки прицел! — скомандовал я. — Так. А теперь навались, ребята. Дружно, раз-два — взяли!..

И пустили мы пушку своим ходом вниз по крутому склону. К ней, нелепо развернувшейся где-то на середке, сразу потянулись пулеметные трассы. А три оставшихся орудия вели огонь.

Недели через две после взятия Кенигсберга генерал приехал в полк вручать ордена и медали.

Конец апреля — только-только загорались костры сирени, фиолетовые и белые. Первозданной, отполированной зеленью блистали еще не успевшие запылиться березы. И шалый весенний ветер теребил и раскачивал их длинные ветки, полоскал в солнечном свете вынесенное по такому случаю полковое знамя.

Стол, накрытый, как в доброе старое время тяжелой красной скатертью, стоял на траве. На нем адъютант комдива разложил наградные удостоверения (временные — белые листки: орденские книжки к нам еще не пришли), прижав их, чтобы не разлетелись, картонными коробочками с орденами и медалями. Теперь в таких коробочках продают золотые кольца.

Генерал по списку вызывал награжденных. Адъютант в это время отыскивал на столе нужное удостоверение.

Дошла очередь и до меня. Генерал, пожимая мне руку, — дивизионный оркестр уже поднес к губам мундштуки своих сверкающих труб, готовясь грянуть туш, вдруг задержал ее, всматриваясь в лицо:

— Постой... Где-то я тебя видел, старший лейтенант... Помнишь, как мы с тобой воевали?

Я, конечно, еще спиной помнил его библейский посох, а комдив, наверное, забыл ничего не знавшие для него подробности.

— Так точно, помню.

Взял из его рук картонную коробочку с орденom, сделал «налево кругом». А медные трубы радостно взвыли на залитой солнцем поляне.

ДЕСАНТ

Вот оно, Балтийское море. Сапоги захлестывает сивая пена. Лошади тыкаются в зеленую воду мордами и, изумленные, их отдергивают — пить эту воду нельзя.

Эсэсовская дивизия, которую мы все эти дни теснили, прижимая к морю, убралась на длинную косу, километра полтора-два в ширину и протяженностью километров тридцать. Основание косы нашпиговано минами, опутано колючей, в двенадцать рядов, проволокой. А за укреплениями ошестинились орудия и минометы — примерно один ствол на каждые три-четыре метра. Попробуй прорвись!

И хотя война на исходе, хотя наши армии дерутся уже в предместьях Берлина, — здесь от этого не легче. Штурмовать перешеек можно до скончания века (на это и рассчитывают фрицы). А на балтийском просторе пехотные цепи не развернешь. И командование решает — десант!

На штабных картах выглядит это так. Стрелковый батальон плюс 76-миллиметровая полковая батарея на плотках, которые буксируют катера, высаживается в центре косы, захватывает плацдарм. На завоеванный пяточок переправляются еще два батальона и пушки. Разрезаем эсэсовцев, разворачиваемся в сторону перешейка, атакуем и захватываем укрепления. Саперы разминуют проходы, и на косу врываются остальные

два полка дивизии. Красные стрелы на картах выглядят эффектно и убедительно. !

А мы чувствуем себя неуютно. На море воевать не привыкли. Дивизия наша пехотная, а пехота, как известно, воюет пешком, без отрыва от родимой земли, которая и защитит и прикроет. А на водной глади солдат как муха на ладони.

Но кончать войну надо? Надо. Если враг не сдается, его уничтожают? Конечно. Так какого хрена вы губы распустили?! Последний бой и — точка.

Политрабату в батарею я вроде веду верно. И все со мной согласны. Да кто бы посмел перед боем возражать комбату? А у меня у самого на душе кошки скребут. Только представляю, как мы ползем по морю, прикрытия никакого, а под ногами засасывающая глубина...

Неприветливая, серо-зеленая, холодная, бьется вода о песчаный берег.

Ближе к рассвету затарахтели моторы катеров, подтаскивающих к песчаной полосе черные квадраты плотов. Первый эшелон десанта начал грузиться. С непривычки, что ли, воевать на воде, провозились долго, и, когда первые роты двинулись к косе, розовым окрасилось небо, над по-ночному темным морем показался алый краешек солнца.

Нам бы в это утро туман, или хотя бы дождь, или ветер развел бы волну — все какое-нибудь прикрытие. А день начинался словно по заказу фрицев, тихий, солнечный. Море гладкое, как натянутая простыня. Красное колесо выкатилось из-за горизонта, подсветило багровым воду, опережая события. И невооруженным глазом видно: ползут по зеленой глади плоты. Тишина. С немецкой стороны ни выстрела.

Подошел к желтому песчаному берегу маленький катерок, считай, моторная лодка, подта-

шил сколоченный из бревен плот. Закатали на него пушки, погрузили снаряды. Солдаты разместились возле орудий.

Мне надо решать, куда садиться: на плот или на катер. Тянуло к ребятам, возле пушек я чувствовал себя уверенней, да и мало ли какое решение придется принимать... А что я без батарей? Но слышал и такое — разговоры в полку были: прижмет огнем, перерубит осколком канат и — уйдет катер, а ты болтайся на волне как знаешь.

Долго думать некогда: прочертила дугу красная ракета, это значит — второй эшелон, пошел! Прыгнул в катер, сел рядом с мотористом, передвинул на живот расстегнутую кобурку пистолета. Запрычал двигатель, натянулся канат. И вот уже между плотом и берегом полоса...

Тихо. Пока еще тихо. Первые плоты почти у немецкого берега. Крепкие нервы у эсэсовских офицеров...

Только подумал — разрыв снаряда поднял столб воды между плотами. И пошло. Коса ошметинилась блескучими вспышками, зачастили, захлебываясь, пулеметы, взвыл и закачался воздух, прогибаясь под тяжестью горячего металла. Казалось, десант уткнулся во вражеский укрепрайон...

Впереди, там, где плоты первого эшелона, море вздыбилось, его подкинуло в небо тысячами всплесков-разрывов. Иногда среди кипящей воды и дыма взлетало торчком расщепленное бревно. А солнце высветило во вздыбленных брызгах цветастую радугу, какую-то преступно прекрасную, дико неуместную в грохоте боя.

Батарея 76-миллиметровых пушек открыла огонь с плота. Я считал выстрелы. Пять раз прямо с волны ахнула в немецкий берег пушка (очевидно, на тесном плоту ребята смогли развер-

нуть только одно орудие). И — зашаталось море вокруг пушек. Встали на дыбы бревна, а пушки и люди ссыпались в зеленую глубину.

Мы медленно ползли к грохочущей впереди водяной стене. По нам пока не стреляли. Да и зачем? Мы сами вливаем в огневой заслон, который, размолив первый эшелон, не спеша, займется вторым...

Моторист, парнишка лет восемнадцати, чумазый, как все мотористы, все время облизывал пересохшие губы. Он то и дело кидал на меня отчаянные взгляды. А что я могу? Я сам поминутно оглядывался: нет ли над нашим берегом двух зеленых ракет — сигнала отхода; что атака наша захлебнулась — ясно. Но ракет не было.

Пулеметные очереди уже начали мести по нам, выбивая на морской глади цепочку фонтанчиков. И тут сердце вздрогнуло и остановилось: две зеленые ракеты бледным огнем плеснули в небо. И еще две. Полк звал уцелевших назад.

— Поворачивай! — только и успел сказать мотористу, а он уже плавно, стараясь не опрокинуть плот, разворачивал катер.

Радости, что выжили, не было. Перед глазами все стоял неудачный десант, товарищи, которых сглотнула холодная Балтика. Угрюмое молчание повисло над нашим берегом.

Ничего время не стерло в памяти. По-прежнему цветастая радуга переливается всеми красками спектра над водяными могилами друзей. И до сих пор бьют, бьют, слышу, полковые пушки прямо с плота, притягивая к себе огонь эсэсовских орудий. И пересыхают от страха и отчаяния губы восемнадцатилетнего моториста. И пытит катерок, натягивает канат плота, на котором самые близкие мне люди — Костылев, Борисов, Трясцин, Волков...

А я везу их в огненную стену разрывов. Да иначе нельзя — война не кончилась, хотя уже апрель срок пятого и наши войска в предместьях Берлина.

ПОБЕДА!

Берлин взят. Промелькнули первомайские праздники. А в полку настроение хуже некуда: приходит пополнение, и мы собираемся повторить десант. Хмурые солдаты прячут глаза, командиры психуют, часто срываясь на крик. Тонуть в Балтике никому неохота. Но кто отменит боевой приказ? Ссылаться на то, что конец войны вот-вот, никому не позволено. И суровое, замкнутое, какое-то закаменное лицо комдива не располагает к разговору.

Наверное, поэтому, когда в ночь с восьмого на девятое мая меня разбудил телефонист и прерывистым голосом сообщил: «Войне капут, мир», — я не поверил. Только спросил:

— Это откуда тебе известно? Приказ Верховного был?

— Приказа не было, — растерялся связист, — ребята по линии передавали.

— Треплитесь меньше, — посоветовал я, — и не буди людей своими глупостями.

Натянул на голову воротник шинели и заснул. Больше меня никто не будил. Встал я поздно и, выходя из дома, удивился тишине. Было как-то неправдоподобно тихо — ни выстрела.

Так и стоял на высоком крыльце, курил папиросу, соображая, чем заняться в первую очередь. Лошади батарей — вороные, гнедые, соловые — мордами у коновязи. В небе — ни облачка. А свежий морской ветер трепал длинные ветви берез, чуть слышно посвистывал в листве.

Капитан Московченко, комбат 120-миллиметровых минометов, с добрым лицом счастливого человека, вошел во двор и сразу же увидел меня.

— А ты чего стоишь столбом, старлейт? Хоть бы побрился — мир все-таки...

— Как мир? — опять не поверил я.

— А так! — радостно замялся капитан. — Как мечтали четыре года: Гитлеру капут, фрицы капитулировали... Иди поспи еще малость, а то у тебя замедленное мышление. Для противотанкиста — последнее дело... Да побрейся, — добавил он уже серьезно, — в одиннадцать общее построение дивизии.

А потом были полковые колонны на зеленом плацу немецкого луга. Ветер расправляет боевые знамена. И взволнованный голос комдива, поздравляющего с Победой. И все мы, ошалевшие от счастья, словно не понимали еще, что больше никому не придется вставать под пулями и идти в атаку. Мы помилованы войной. Мы дошли до Победы. И это нам сегодня пить за всех, кто не дошел, кого мы хоронили своими руками в глинах Орловщины, в болотах Белоруссии, в песках Польши, в парках Германии. И хотя мы ни в чем перед ними не виноваты, навсегда у нашего поколения останется щемящее чувство вины. И невозможно объяснить, невозможно оправдаться, невозможно рассказать, почему ты выжил, а твой товарищ погиб.

Трагически скорбные глаза вдов и матерей нас не судят, и мы не судим себя. Но под этими взглядами я всегда чувствую какую-то неловкость. Почему пуля, просвистев рядом со мной, попала в товарища? Потому, что я стоял чуть левее. А почему я стоял левее?

Ответа на такой вопрос нет. Но мне мучиться им

до самой смерти. Мы обречены помнить погибших в лицо и поименно. Пока мы живы, они не покинут нашу память, они всегда с нами.

С утра десятого мая немцы начали сдаваться. Вереницы пленных для нас не диво, видели их и под Бобруйском, и под Кенигсбергом. Но то были просто фрицы, а сегодня складывала оружие гвардия фюрера, оплот фашистского рейха.

Немецкие саперы прорезали широкие проходы в проволочных заграждениях, обезвредили и оттащили в сторону мины. Круглые, как тележное колесо, они громоздились по бокам сорванной с кольев колючей проволоки. Потом приехал на «виллисе» командир, автоматчики оцепили дорогу, и эсэсовцы начали выходить с косы.

Они шли шеренгами, по четыре в ряду, впереди офицеры. И потому сначала на дорогу ложились пистолеты — вальтеры, парабеллумы, манлихеры, карманные вальтеры (дамские, как мы их называли), бельгийские браунинги... Пистолеты валились на землю, как картошка. И коричневые эсэсовские кинжалы — на эфесе топырит острые крылья одноглавый орел, на хромированной стали лезвий готическим шрифтом выгравировано: «Дойчланд юбер аллес» — «Германия превыше всего».

Здесь не только носили оружие, здесь им любовались, пытались создать новую эстетику — эстетику бандитизма. И вот, вычистив наспех мундиры, брэнча орденами и медалями, эсэсовское офицерье складывало пистолеты и кинжалы к сапогам вчерашних колхозников, учителей, школьников.

Мы не писали надменных лозунгов на своем оружии, мы не пытались украшать штурмовые ножи дорогими эмблемами — пятиконечными звездами

или серпом и молотом. Мы остановили на Волге и под Орлом пьяную от крови немецкую армию, мы погнали ее вспять, мы разнесли в щепки бронированные двери Германии. И теперь гитлеровская гвардия на своей земле складывала к нашим сапогам свое оружие.

Фашистских офицеров окружила цепь наших автоматчиков и повела в лагерь военнопленных. Там с ними будут разбираться особисты и судьи. А мы дело сделали — никому больше не страшны черные мундиры с тусклым серебром нашивок и шевронов. С тысяча девятьсот тридцать третьего по тысяча девятьсот сорок пятый они леденили ужасом Европу. Баеста!

Я посмотрел на своих ребят. Не мстительны, не злорадны, а печальны и угрюмо спокойны были лица Костылева и Трясцина. Командиры орудий стояли плечом к плечу и не сводили глаз с эсэсовцев. Самая важная, самая трудная работа, которая может выпасть на долю человека, была за плечами моих помощников. Нет, не те слова. Не командиры орудий, а школьный учитель и уральский хлебобороб, закончив войну, брали эсэсовских, профессиональных вояк в плен.

И, наверное, только в эту минуту я с абсолютной ясностью понял, что война кончилась.

Подошла, с бортами ободранными пулями и осколками, полуторка. Совковыми лопатами, словно это и впрямь картсшка, солдаты забрасывали в кузов пистолеты. Машина уехала на склад.

А с косы уже шли эсэсовские солдаты, фельдфебели и унтер-офицеры, на дороге громоздились шмайссеры, пулеметы, винтовки...

И первый раз сердце кольнула тревога. Костылев и Трясцин скоро поедут домой. Они примутся за дело, которым занимались прежде. А я? Что я

умею? Стрелять из пушек и ползать за «языком». Кому это нужно в мирное время?

Остаться в армии? Но ведь я хотел учиться, хотел писать. Мне всю войну снилась моя девятиметровая комнатка в Москве, письменный стол с литой, тяжелой стеклянной чернильницей, книги Блока и Пастернака на этажерке. А ведь я уже не мальчик — скоро двадцать два стукнет. Как себе зарабатывать на жизнь? Война кончилась. Как жить дальше?

ОРТЕЛЬСБУРГ

Небольшой городок где-то в центре Мазурских озер. Вдоль улиц, во дворах, вокруг города — непроходимые заросли сирени. Кипенно-белой и рыхло-фиолетовой; кисти большие и тяжелые, как виноградные грозди.

А сам городок чистенький и умытый, словно с картинки. Красная черепица остроугольных крыш, голубое озерцо за невысокой дамбой, ратуша и кирха на площади. Война обошла Ортельсбург стороной, ни одного стекла не уронили его дома на мостовые. Может быть, потому в нем сегодня так много наших войск...

Главную улицу занял стрелковый полк, дальше — армейский госпиталь, в нем долечиваются раненные. И чего не было всю войну — появились больные. Оказывается, есть не только сквозные, слепые, колющие и рваные дыры на человеческом теле, но и простуды, пневмонии, ангины... И если у тебя болит горлышко, можно получить освобождение от службы и валяться в постели. Чудеса! Ребята хохмят: «Прежде бы так: фрицы контратакуют танками. А ты: у меня насморк, доктор, прошу направления в медсанбат... Тебя бы направили!».

На широком лугу возле озера — полевой аэродром, трещат моторы «кукурузников», ходят серьезные девушки в лёглых комбинезонах.

Моей батарее отвели дом на окраине города. В мезонине живут офицеры, внизу три комнаты — казарма, во дворе, на аккуратненько выструганных колодках, выдраенные, блестящие от пушсала орудия — артпарк; чуть поодаль, в большом сарае — конюшня, а в саду Медведев обшил летнюю беседку фанерой и соорудил в ней кухню.

С маленького вокзальчика — в один перрон — почти каждый день уходят в Россию эшелоны с демобилизованными. Сегодня я провожал самых пожилых из своей батареи — Костылева и Коготько.

Командир орудия и ездовой никогда не отличались военной выправкой и бравым видом. Но при расставании особенно ясно было: не старшина и рядовой, а два очумевших от радости человека стоят у ступенек вагона. Мы все не знаем, что сказать друг другу на прощание. И если они в мыслях тропят поезд, они уже не здесь — в Германии, они дома, возле своих жен и детей, то мне хочется задержать паровоз. Батарея была на войне моим единственным домом, прощаясь с бойцами, я их отрываю от сердца, как говорят, с мясом и кровью. А что в такую минуту скажешь?

Мы целуемся с Костылевым, а Коготько не решился нарушить субординацию — обнять комбата. Он мнет мою руку в жестких ладонях и все приглашает к себе в Речицу.

Потом поезд трогается, старшина и ездовой долго машут пилотками. Я стою на пустом перроне, курю одну папиросу за другой... Все правильно, радоваться надо, но до чего тяжело на душе.

Да и служба в мирное время у меня не клеится. В расписании занятий — материальная часть, стрель-

ба, строевая подготовка... Так что Василия Трясцина, командира орудия, я буду учить: пушка состоит из лафета с раздвижными станинами, которые крепятся двумя стопорами, ствола с клиновым замком, люльки с противооткатным устройством... Или Алешу Борисова, награжденного тремя орденами Славы за то, что в любую цель он попадал если не первым, то вторым снарядом, был лучшим артиллерийским снайпером полка, — как стрелять. Да у меня язык не поворачивается с умным видом говорить батареяцам давно известное, что они знают не хуже меня.

А занятия проводить надо: мирное время, армия должна быть армией... Вот и запрягаем мы утру лошадей: «Расчеты, садись!» — и уезжаем куда подальше. Благо брошенных хуторов в округе хватает. А там ребята пасутся на вишне, малине, смородине — сады у немцев богатые...

И, конечно, однажды заместитель командира полка застаёт батарею между кустами, а меня на расстеленной плащ-палатке перед грудой черно-багровых вишен. И стою я навытяжку, принимая начальственные громы и молнии.

На другой день забираемся мы в такую глушь, что ни один замкомполка не отыщет. Хоть разорвись — не умею я служить в мирное время.

Плохую услугу оказала и привычка заботиться о солдатах своей батарее, стараться, чтобы люди были всегда хорошо накормлены.

А началось все вроде с пустяка. Во время поездок по дальним хуторам, чтобы укрыться от зоркого начальственного ока, натолкнулись мы на небольшое стадо брошенных хозяевами коров. Пять молоконосных агрегатов, чуть ли не волоча по зем-

ле разбухшее вымя, из которого сочилась белая жидкость, паслись на густой траве.

Ребята — добрая половина их вчерашние крестьяне — заволновались. Подумали сообща и решили: взять коров под свой присмотр, выделить из солдат двух пастухов, а молоко — на батарейный стол...

Аппетит, как известно, появляется во время еды. Озер вокруг Ортельбурга много, а в них — от солдата ничего не скроешь — полно рыбы. И не соленой трески, которую выдавали интенданты, а судака, леща, щуки. Солдаты сами отыскивали лодку и бредень, а уговорить меня выделить двух рыбаков для постоянного обеспечения батареи свежей рыбой не составило большого труда.

И зажили мы хорошо и богато. Каждый солдат получал с утра по кружке молока, а на обед шла рыба и вареная и жареная... Я честно считал, что не делаю ничего плохого. Не хлопай ушами, и у тебя все будет: рыбу наловить нетрудно, а бродячих коров вокруг города хватает. И потому удивился, когда однажды утром...

В тот день сам я не поехал на занятия. Батарейцы с пушками и лошадьми под водительством взводных отправились изучать матчасть 45-миллиметрового орудия. Так по крайней мере значилось в расписании занятий. Сидел я в своей комнате и старался из слов, которые разбегались под пальцами, как шарики ртути, сложить хоть что-то немного напоминающее войну. Но получалось или слишком ура-режь-кроши, или сплошные могилы от Москвы до Балтики. Ясное и точное виденье преобразалось почему-то в трухлявые, как облетевшие листья, слова... Голос дневального «Комбата на выход!» оборвал мои стихотворные упражнения.

Незнакомые майор и капитан протянули свои

офицерские удостоверения. В одном стояло: инструктор политотдела дивизии, в другом—следователь дивизионного трибунала. Ничего не понимая и не чувствуя себя ни в чем виноватым, я пригласил неожиданных гостей в канцелярию.

Первый же вопрос чернявого капитана, следователя, показал, откуда дует ветер.

— Правда ли,— капитан неторопливо размял папиросу, прикурил, пустил синюю струю дыма,— правда ли, что у вас в батарее есть стадо коров?

— Правда,— подтвердил я, все еще не понимая, какое отношение имеют к трибуналу наши коровы.

— А правда ли,— продолжал капитан,— что в батарее имеются люди, специально выделенные для ловли рыбы?

— Правда, имеются,— согласился я.

— Так какое вы имеете право,— повысил голос майор,— из боевых солдат делать пастухов и рыбаков, которые должны вас обеспечивать молочком и рыбкой? Вы, что, офицер Советской Армии или помещик? У вас в батарее солдаты или крепостные мужики?

— У меня в батарее солдаты,— сказал я, леденея от злости,— А молочком и рыбой они обеспечивают не меня, а самих себя.

— Значит, вы утверждаете,— продолжал ровным голосом следователь,— что молоком и рыбой, доставляемыми вам, вы делитесь с солдатами вашей батареи...

— Я утверждаю,— от злости меня трясло, но старался говорить спокойно, понимал, на одних эмоциях далеко не уедешь,— что молоком и рыбой солдаты батареи делятся со мной и другими офицерами.

— Казуистика,— пожал плечами капитан.

— Почему же казуистика? Через час обед, ба-

тарей должна вернуться с занятий, поговорите с людьми. А пока прошу на кухню...

Над летней беседкой, переоборудованной Медведевым в кухню, стоял душным столбом специфический, пахучий, от которого никуда не спрячешься запах жареной рыбы. А сам Павел Евграфович, видя подходящее к кухне начальство, гостеприимно засуетился, подумал, видно, что я веду друзей, чтобы их накормить.

— Спрашивайте, пожалуйста,— сказал я майору и капитану, пропуская их вперед.

Павел Евграфович насторожился, я это понял по тому, как он тщательно, палец за пальцем, стал вытирать руки фартуком. Разговор начал майор:

— Что сегодня на обед получит батарея?

— Суп из картошки и перловой крупы на свиной тушенке, жареную рыбу с пшенной кашей, чай...

— Рыба со склада? — уточнил капитан, хотя лоснящиеся, коричневые куски, лежащие на широких противнях, никак не напоминали треску.

— Никак нет,— что-то уже понимая, четко рапортовал Медведев,— рыбу наловили наши ребята.

— А как распределяется молоко?

— Одного удоя на всех не хватает,— слова Медведева звучали для меня наисладчайшей музыкой,— поэтому объединяем вечерний с утренним, и каждому солдату — по кружке...

Все было ясно. И я, даже не предложив капитану с майором подкрепиться, повел непрошенных гостей обратно в канцелярию.

— Ты зря обижаешься,— сказал мне майор, пока капитан строчил акт обследования. — Сдашь коров в народное хозяйство, поломаешь свою рыбацкую артель — и дело с концом. Мы думали, все гораздо хуже...

...Коров я сдал, рыболовецкую артель прикрыл. И написал свой первый рапорт: ввиду того, что не умею и не хочу служить в мирное время, прошу уволить в запас...

Командир полка, теперь уже полковник, Попов прочел мой запальчивый мальчишеский рапорт. Молча, насмешливо и удивленно, он разглядывал меня, словно впервые увидел.

— Господи, какой же ты пацан! Да неужели непонятно, что в мирное время партизанить не положено? Да и куда ты пойдешь из армии, что ты делать-то умеешь? Парню двадцать два года, вся война за плечами, три ордена на груди... Никуда я тебя не отпущу, поедешь еще учиться, повышать военное образование.

— Нет, товарищ полковник, учиться я никуда не поеду. Не отпускать — это воля ваша, а учиться, твердо говорю, не поеду!

— Ну и дурак, — вздохнул полковник. И уже официально: — Можете быть свободным.

— Слушаюсь, — четко крутнулся я на каблуках и вышел из кабинета командира полка.

СОБОЛЬ ЖИВЕТ НА ОЛИМПЕ

К осени в Ортельсбург и его окрестности стали приезжать польские крестьяне — с женами, детишками, домашним скарбом. Эта часть Восточной Пруссии отходила к Польше. А наш полк перевели в другой небольшой городок.

Аккуратненькие улицы, двухэтажные домики. Поперек всю эту бюргерскую скуку пересекает неширокий Прегель, плещется под узким мостом смиренная городская вода. Потом, уже без меня, были переименованы и этот городок, и Кенигсберг, за взя-

тие которого у меня медаль, стал Калининградом. Новые их названия давно стали привычными и, назови города старыми именами, никто не поймет.

В нашем городке прежде стоял немецкий полк, и мы заняли его казармы. Утопанный поколениями солдат плац окружали четыре трехэтажные здания — там разместились стрелковые батальоны, батареи, отдельные роты и взводы специальных служб. Поодаль — небольшой домик полкового штаба, через дорогу, напротив проходной, офицерское собрание — столовая, буфет, библиотека. Начиналась обычная гарнизонная жизнь, о которой ничего интересного вспомнить и рассказать не могу.

Демобилизация продолжалась. Уехал Алексей Борисов, уехал Василий Трясцин. Из моих фронтовых товарищей остался, пожалуй, один Мишка Волков. Но и он уже не был моим ординарцем — в мирное время ординарцы командирам батарей не положены. И даже повара Медведева — он пожелал остаться на сверхсрочную — забрали из батареи.

На Павла Евграфовича, до войны шеф-повара ресторана в Орле (о кулинарных талантах его знали в полку и дивизии), начальство давно точило зубы. Но я ни в какую не соглашался на его перевод — был тогда приказ, запрещающий брать людей из строевой части и загонять их в тыл. Этим приказом и оборонялся. Война кончилась, и Медведев сделал карьеру — перешел старшим поваром в офицерскую столовую штаба. Попрощались мы с ним элегически, посидели у меня на квартире за стаканом чая — казенной водки не нашлось в тот вечер, а на черном рынке — пятьсот рублей пол-литра.

Пригласил меня Павел Евграфович приезжать в город, в свою столовую, — уж там-то он меня накормит... Что накормит на славу — не сомневался, но за столько верст ехать пообедать? Провожать

его на вокзал я почему-то не пошел, хотя знал,— больше не увидимся, и никакой обиды на повара у меня вроде не было. И все-таки...

Приходило в батарею пополнение. Они еще не воевали, им-то я мог со спокойной душой объяснять про лафет с раздвижными станинами и про деления угломера. И я конечно объяснял. Но особой радости не чувствовал. Служба как служба. Можно в канцелярии линовать цифирь, можно орать возле пушек: «К бою!», «Отбой!». Разницы не видел.

Исчезло ощущение своей необходимости. Исчезло ощущение, что если ты этого не сделаешь, то никто не сделает за тебя. Исчезло чувство, что сама Россия опирается на твой лейтенантский погон. Офицеров, которые хотят служить, хватало. А я, демобилизовав ребят, с которыми прошагал сквозь последний год войны, потеряв глубинную связь,— батарея — моя единственная семья, служить не хотел. Мама и отец писали из Москвы, что ждут, что уже отремонтировали мою комнату. Даже покрасили стены в любимый мной цвет. И тяжелая моя чернильница пережила войну и никуда не девалась.

Рапорты с просьбой уволить в запас регулярно почти каждый месяц ложились на стол полковника Попова. Он раздраженно хмыкал и сметал их в ящик. Никаких резолюций на рапортах не появлялось,— словно я их не писал.

Приходилось тянуть служебную лямку. Проводил занятия, водил батарею в полковой наряд, ходил сам дежурить по штабу полка. Гарнизонная жизнь надоела, я мечтал о Москве, о том, что сниму наконец шинель и гимнастерку, надену штатский пиджак и белую рубашку с воротником нараснах...

Я тогда не думал, чужак, что денег на пиджак и рубашку у меня нет, и я, став студентом, буду

долго — почти до последнего курса — донашивать и свою гимнастерку и хромовые, когда-то щегольские, а потом латаные-перелатанные сапоги. И что за тощим студенческим винегретом еще не раз вспомяну отбивные из столовой офицерского собрания. Гражданская жизнь была мне неведома, как неоткрытый материк.

Книг я не видел всю войну. На передовую приносили журналы «Огонек», «Крокодил» и газеты. Самой читаемой была «Красная звезда». И там почти обязательно ежедневно на первой полосе, даже непонятно как писатель успевал, статья Ильи Эренбурга. Напомню, что тогда в «Звездочке», как ласково называли газету, работали и Константин Симонов и Андрей Платонов. Когда пропадала бумага на курево, когда газету ждали не только, чтобы ее прочитать, но и для того чтобы свернуть наконец сигарку, прежде всегда вырезали статью Эренбурга и сводку Совинформбюро.

Эренбург был с отрочества моим главным писателем. И я радовался, что во время войны он стал необходим всем.

Но война, пора одних только газет, кончилась. И вот в библиотеке дрожащими от нетерпения и счастья руками я листаю книги. Они были тогда плохо изданы, на серой газетной бумаге, в мягких обложках. Но какие книги! «Василий Теркин» Александра Твардовского, «На ранних поездах» Бориса Пастернака, «Сын» Павла Антокольского. Мне казалось, что война, страна, поколение говорят голосами этих поэтов.

А потом до нас стали доходить журналы «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», и там под тощими столбцами стихотворений — новые, неведомые мне

имена: Марк Соболев и Семен Гудзенко, Александр Межиров и Михаил Луконин, Сергей Наровчатов и Михаил Львов, Павел Шубин и Вероника Тушнова...

Не могу даже сказать, что я завидовал. Я прочитывал строки молодых поэтов с восторгом и отчаянием. Мне тогда казалось, что именно так написал бы и я, если бы умел. А я не умел...

Знать бы мне, мальчишке, зимой сорок шестого года, читающему и перечитывающему в который раз стихи дотолы неизвестных молодых поэтов-фронтовиков, что вскоре я с многими из них познакомлюсь, а кое с кем и подружусь, что Николай Старшинов опубликует первое мое стихотворение в «Юности», что он и Марк Соболев дадут мне рекомендации в Союз писателей.

Я даже представить не мог такого! Соболев, к примеру, с которым я дружу уже лет тридцать пять, казался мне тогда классиком.

Хорошо, что человек не может знать, что его ждет. И хорошо, что иногда все-таки сбываются мечты и надежды. А когда сбываются, какими обыденно будничными они потом кажутся. Но тогда...

В Москве бурлит какая-то восхитительно-праздничная жизнь, а я должен торчать, как пришитый здесь, строить по утрам батарею на развод, объяснять солдатам, что винтовка состоит из ствола с казенником и магазинной коробки, затвора, деревянного ложа с прикладом... Да пропади все пропадом!

Трудно с такими мыслями быть исправным офицером. И начальство стало коситься на меня, как на трепача и бездельника. А полковник Попов вкатывал мне выговор за выговором, но рапорты не подписывал. Как я теперь понимаю,—надеялся, что одумаюсь.

ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!

Первая мирная весна. В Прибалтике снег не залеживается, потому обычного для России ожидания, когда солнце наконец растопит поднадоевшие за долгие зимние месяцы сугробы, когда их рассекут синие, как кривые сабли, ручьи, и завиднеется младенчески-мокрая земля, сквозь которую прорываются к свету зеленые жалыца травы, нет. Здесь просто с каждым днем сильнее прогревает, с влажных дорог поднимается белый парок, и его уносит все еще по-зимнему холодный морской ветер. Ветер свистит между домами, качает в небе высокие шапки сосен, пересыпает сухие песчинки на верхушках дюн.

И почему-то весной особенно хочется домой, где, знаешь, еще и подснежники не проклюнулись сквозь мощные спины сугробов, где весну можно заметить только по робкой капели, по сосулькам на южных скатах крыш.

А у нас в полку две новости. Первая: сдаем лошадей в народное хозяйство, переходим на мехтягу. И вторая: комполка, полковник Попов, уходит в корпус на повышение.

Попов пришел в офицерское собрание в новеньком кителе, блистая всеми своими орденами и медалями. Поблагодарил всех офицеров за службу, а потом подходил к каждому, с кем пришлось воевать — в полку много пришлых, присланных к нам после Победы, — и прощался уже лично, пожимая руку. Дошла очередь и до меня.

— Уезжаю, теперь никто тебя держать не будет — сбежишь, — полковник наклонился, приближая свое гладко выбритое лицо со взъерошенной щеточкой седых усов, от него уютно пахло одеколоном и мылом — а потом сам пожалеешь. Сколь-

ко поручиков писали стихи, а как был один Лермонтов, так один и остался. В армии ты хоть что-то собой представляешь, а в «гражданке» будешь ноль без палочки.

Он наступил, как говорят, на самую мою большую мозоль. Тревога настойчиво и грубо ворохнулась внутри, я и сам понимал всю необоснованность своего желания стать поэтом. Казалось, я могу с тем же успехом мечтать о погонах адмирала или о poste президента США... А Попов отошел от меня и уже что-то говорил капитану Московченко.

Через два дня новый командир полка, подполковник Аршинов, вызвал меня в штаб.

— Вы подавали рапорты об увольнении из армии,— начал он, едва я переступил порог кабинета. — Ну, что ж, война кончилась, число офицеров, разумеется, будет сокращаться. Передо мной не легкая задача: кого из фронтовиков отчислить в запас. А вы, спасибо, сами торопитесь. Сегодня я посылаю документы в штаб округа. Завтра сдайте батарею и ждите приказа маршала Баграмяна об увольнении.

Приказа я ждал три месяца. Извелся от нетерпения и безделья. Теперь, когда я ничем, кроме трехразового посещения столовой, не занят, казалось бы только читать и писать. А я лежал целыми днями на кровати, книги и бумага валялись из рук, в голове ни одной путной мысли. Тревога за будущее, такое неопределенное, как бы настаивалась на прощальных словах Попова, бредила душу. В армии мне действительно все известно — от мельчайшего винтика в замке орудия до мантапки на флаге. А из «гражданки» я ушел после десятого класса, и годы войны к моему школьному опыту ничего не прибавили.

Так я думал, ворочаясь на смятой постели. На-

ступала осень, желто-красную листву берез и кленов ветер уже носил по городу, когда услышал в столовой:

— Зайдите в штаб. Оформите документы.

И хотя я этого давно с нетерпением ждал, сердце на секунду остановилось, а потом застучало чаще и сильнее обычного.

Ну, предотъездная суета всякому известна. Закрыть вещевой аттестат — получить недополученный отрез на шинель (потом, в Москве сшил из этого отреза пальто и носил его лет десять), белье; получить продукты по продовольственному аттестату на месяц вперед — в стране еще были карточки. В финансовой части выдали выходное пособие и по месячному окладу за каждый год фронта. Литер на поезд «Кенигсберг — Москва». И все. С армией я, считай, расквитался.

Полк — в полевых лагерях. Прощаться не с кем и провожать меня некому. Вещи, которые были в квартире, — три разнокалиберных кресла, квадратный стол какого-то блестящего черного дерева, огромное зеркало в круглой раме, напольные часы со звоном — поставленный на попа гроб, в котором ходит, сверкая медью, тяжелый маятник, — раздал давным давно ребятам — им служить. В квартире только кровать, колченогий кухонный столик и табуретка. Пол закидан окурками.

Поезд уходил поздно ночью. В двенадцать я поставил на столик бутылку водки, вспорол ножом консервную банку, налил стакан и закурил. Пить одному не хотелось. Грусть, черная и вязкая, как смола, навалившись, путала мысли. И как же я удивился и обрадовался, что кто-то тарабанит в дверь.

И как радостно было увидеть за этой последней здесь трапезой милую морду Мишки Волкова. Про-

слышав, что я сегодня уезжаю, он вопреки армейской дисциплине, сел на попутную машину и приехал в город.

Так мы и провели вместе последние часы, вспоминая ребят из батареи, не делая различия между теми, кто дошел до Победы, и теми, кого мы похоронили в польской и немецкой земле. Они все побывали на нашем прощальном ужине. И я помню его до сих пор.

А потом — время! Волков взял мои шмутки: тяжелый, сделанный из фанеры, окрашенной коричневой липучей краской чемодан и сверток с солдатским одеялом, отрезом на шинель и плащ-палаткой, — я накинул на плечо лямку вещмешка. И двинули на вокзал. Оформление билета у военного коменданта прошло быстро. И почти сразу же подошел поезд.

Здесь он стоял всего пять минут. У вагонных ступенек мы расцеловались. Вытер рукавом глаза, схватился за поручень и смотрел на Мишку, который махал и махал мне с перрона. И долго я стоял на площадке, курил папиросу за папиросой, пока не уgomонилось сердце, не стало обычным дыхание...

Вагон был жестким, плацкартным. Да какая там плацкарта, когда на каждой полке в обнимку спят двое, а то и трое. Приткнулся на свободное место, сел, а потом, опираясь спиной о чужую спину, закимарил. Старенький вагон кренился на поворотах, шибко стучал колесами — торопился к Москве.

Утром, отстояв бесконечную очередь, умылся. Попил жидкого, чуть теплого чая и прилип к оконному стеклу. По обе стороны вагона плыла растерзанная войной Россия. Взорванные полустанки, каменный лес холодных печных труб на месте деревень и сел, остовы железнодорожных вагонов в

проржавленных тупиках. Много пахотной земли еще пустовало, и ветер качал жирную лебеду и полынь там, где расти бы ржи и пшенице.

Хорошего не обещала дорога. Миллионы хлеборобов, трактористов, слесарей не пришли с войны. Дважды — туда и обратно — прокатился фронт по этой земле. Чего же удивляться, что города не поднялись, а поля пустые? Лебеда и полынь особо пышны и мясисты, когда под ними мертвые.

А вагон гремел колесами весь день, и все плыли вдоль окон сожженные деревни и взорванные станции. Ночью все это милосердно прикрывала тьма. И уже только редкие фонари пролетали мимо. Поезд приходил в Москву утром.

И вот она, белокаменная! Продрался сквозь толчею перрона и вокзала, вышел на Комсомольскую, или, как ее еще называют, площадь трех вокзалов. Моросил реденький осенний дождь, сердце гулко колотилось. Пять лет я не видел Москвы, и вот она — поезжай в любую сторону!

Но это так говорится — в любую сторону. Мне надо домой, на Перово поле, что за прожекторным заводом. Там меня ждут мать и отец, там комната, покрашенная к моему приезду в любимый синий цвет. Там стол, книги, там мне начинать жизнь заново.

Стал в хвост огромнейшей очереди на такси. Поставил к сапогам, на асфальт, свой фанерный чемодан, положил на него сверток и вещмешок.

Мне двадцать три года, по-существу вся жизнь впереди. Несмотря на какое-то внутреннее смятение, я был уверен в себе. Казалось, меня фронтовика, прошедшего сквозь войну, жизнь не посмеет обойти удачей и счастьем.

Я тогда не знал, как будет трудно, как неимоверно долг будет путь в литературу. Не знал, что судьба уведет на долгие годы на Северо-Восток, на Чукотку. И почти всегда укрытая снегом, промерзшая земля станет моей второй родиной. Не знал и того, что самое важное и сложное в жизни я уже одолел.

Но чувствовал: никогда не буду я больше так нужен своей Родине, она никогда не будет мне так щедро доверять и так строго спрашивать, как в эти мои звездные годы.



О моем старшем товарище

Мы расстаемся с героем и автором повести осенью 1946 года. Что же было потом? Как сложилась судьба демобилизованного старшего лейтенанта Бориса Блантера? Когда и как родился поэт Борис Борин? Фронтовик Блантер поступил в Библиотечный институт под Москвой, на станции Левонабережная, закончил его, работал некоторое время по специальности. Ушел в журналистику, был сотрудником журнала «Знание — сила», затем — ведомственного «К новой жизни», литсотруд-

ником в газете «Лесная промышленность», с октября 1968 года — на Колыме, вначале в палаткинской «Заре Севера», потом в «Советской Чукотке». В общем, имел право написать:

*Знал редакций злую толчею
тоже наяву, не понаслышке.
Прокормили молодость мою,
продержали на плаву не книжки —
нонпарелью, въедливым петитом,
скомканной газетной простыней
был мне хлеб не слишком щедро выдан,
щи да чай и всякий харч иной.*

Журналистская судьба Б. Блантера складывалась благополучно — его ценили, печатали, его очерки выходили в сборниках в Горьком, Москве и Магадане. Борис Михайлович пробовавал себя в прозе, в жанре научной фантастики — и здесь достаточно успешно: большую часть книги «Сквозь завесу времени», вышедшей в Магадане в 1971 году, составили его произведения, в том числе и повесть «Оранжевая планета». Но все это в конечном счете казалось (и оказалось) не главным — поэтому и оставил Б. Блантер отнимавшую много сил и все рабочее время «Советскую Чукотку».

А главным были стихи, призвание, смутно померещившееся герою этой книги еще на пороге юности, еще задолго до ужасов войны; оно, это призвание, в конце концов оказалось решающим. Но как долго не наступало это «в конце концов!». Как долго был путь автора от призвания к признанию!

В конце своего жизненного пути Борис Борин писал:

*Меня печатать не хотели:
ну, снова, морщились, война...
И спрашивали: «Неужели
не надоела вам она?»
Послевоенных пятилеток
шла бесконечная страда,
а я из рейдов и разведок
не смог вернуться никогда.
С ребятами из разведвзвода
по топкой хляби все ползем,*

*и ждет нас матушка-пехота,
чтобы прикрыть отход огнем...
Редакций суета и спешка,
послевоенный скудный быт.
Я двери открывал, помешкав,
стесняясь,— я мальчишкой был.
Входил, ушанку сняв, в шинели,
убитых помня имена...
Меня печатать не хотели:
ну, снова, морщились, война...*

Так оно и было, наверное: после Победы так много надо было решать, строить, собирать, восстанавливать, что на память не у всех хватало сил. Но ведь — и это тоже правда — в те же пятидесятые многие из ровесников Бориса Блантера заявили себя уверенными мастерами, сумели многое поведать о суровой военной поре. Процесс созревания поэта Борина шел медленнее. И так бывает в литературе. Вспомните, что совсем недавно, меньше десяти лет назад, мы познакомились с первой повестью Вячеслава Кондратьева. А подтверждения признания были. О них вспоминал Борис Борин в стихотворении «Учителя»:

*Поэты, мэтры, мастера стиха,
в развале строк моих
вы что-то замечали,
могли сказать, что это — чепуха,
а вы молчали, головой качали.
А я ведь только-только начинал,
мальчишка, чудом уцелевший, с фронта.
То бочкою пустою громыхал,
то вдруг разил все безоглядной фрондой.
Но в шелухе мертворожденных слов,
не дав потачки и не дав отсрочки,
сам Михаил Аркадьевич Светлов
учил выискивать живую строчку.
Немного отыскалось этих строк.
Но все-таки — отысканные — были!
И значит я, ребята, что-то мог,
ко мне слова недаром приходили!..*

Были, наконец, и отдельные публикации стихов, в частности в журнале «Юность», еще в 1957 году была книжка переводов... Но первая собственная поэтическая книга вышла только в 1975 году в Магадане. Напомню, что за нею последовали «Незакатное солнце» (1977), «Эхо» (1981), «Связной» (1983), все они вышли в Магаданском книжном издательстве.

О чем писал поэт Борис Борин? О войне? Да, немало, но не только о войне — о жизни.

*Прежде годы прошли, чем сумел я понять:
я — поэт не войны, а победной sireni,
мне б сирень вспоминать и об этом писать...*

О Севере. О замечательных — страшных или героических — моментах русской истории. Его привлекала тема искусства: и собственной поэтической работы, и вечных спутников человечества — творений гения. Да разве может вообще творчество истинного поэта ограничиться какой-то одной единственной темой? Видимо, здесь не место для подробного разговора (а он, я уверен, произойдет, творчество Бориса Борина нуждается в несуетном осмыслении, потому что немало мудрого и ценного в нем заключено). Отмечу лишь важнейшие смысловые и этические акценты его творчества: высокий ригоризм, бескомпромиссность, живую сопричастность своему поколению, народу, стране, неиссякаемую духовность. (Чувствую, Борис не одобрил бы меня за эти высокие слова — он был человеком скромным, подчас мягким, не избегал компромиссов, патетики чурался, но ведь я не о бытовом облике сейчас говорю.)

Когда вышел «Связной», я, как мог, написал на эту книгу рецензию. Борис Михайлович откликнулся письмом: «Давно надо было поблагодарить тебя за статью обо мне, но все собирался это сделать лично при встрече... Статья мне дорога потому, что впервые говорит о Б. Борине, как о поэте. А то всегда рассказывали, как я убивал фашистов. А убивал я точь-в-точь как все. И никакого приоритета в этом у меня нет». И — главное, из-за чего я взял в руки сейчас это письмо: «На-

писал я книгу военной прозы на 10 листов с копейками. Днями высылаю рукопись в издательство. Попытался написать войну, какой ее видел. Сохранил все фамилии и обстоятельства жизни погибших друзей. А это обязывает не врать. Правда же, сам знаешь, самое дорогое и взрывоопасное в литературе. Я доволен, хотя это, конечно, не мудрый труд прозаика, а проза поэта. Память и вымысел пытался совместить так, чтобы читатель сразу поверил в достоверность и точность автора.

...Увидимся, наверное, в Москве, если ты в этом году туда поедешь. Я вылетаю туда в середине июня, ЕБЖ. О здоровье писать не буду — скушная материя. Врачи говорят... Врачи, как всегда, брешут...»

ЕБЖ, по системе, придуманной Борисом, — если буду жив. Через полтора месяца — я смотрю на штемпель Магаданского почтамта — его не стало.

Галина Васильевна Бугашева, добрая моя знакомая еще по «Магаданскому комсомольцу» с начала семидесятых годов, где она стала работать собкором по Чукотке (я и с Борисом познакомился тогда потому, что Галина Васильевна пришла в редакцию в сопровождении мужа), написала мне, что она не может простить себе, то, что подсказала Борису взяться за эту книгу — стихи у него тогда почему-то не писались, а ей было жаль, что все эти истории и люди останутся лишь в устных рассказах. Борис ушел в книгу целиком, переутомил себя и вот... Кто теперь скажет — так ли это? В том ли причина и как было бы, если бы он не стал работать над этой книгой? Но, может, и действительно — так? Ведь писал один из любимейших его поэтов Борис Пастернак, у которого Борин не раз брал строчки для эпитафий — путеводных звезд к своим стихам, ведь писал Борис Пастернак когда-то:

*Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.
Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,*

*И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.*

Ведь писал Борис Борин незадолго до последнего часа:

*Тело мое — это поле сраженья,
и не помогут ни отдых, ни труд.
Снова хворобы идут в наступленье,
старость берет за редутом редут.
Старость бросает меня распростертым
в белый простынный, назоливый ад.
Воздух планеты становится спертым,
губы синеют и бронхи хрипят.
Большие никто не прикажет мне: «Встаньте!»,
не побелеют черные дни,
мальчик мой,
гвардии лейтенантик,
руку из юности протяни.
Ты помоги —
я пойду за тобою,
легкий, одетый в легенду и дым,
и не вернусь из короткого боя,
так и оставшись, как ты, молодым.*

Из своего последнего, не слишком короткого боя с недугом Борис Борин не вернулся.

И еще одно стихотворение из оставшихся неопубликованными:

*Когда-нибудь, к столетию Победы,
праправнуки, что тоже станут деды,
нас соберут буквально до строки,
великих или малых — без различий,
чтобы издать в обложках всех обличий
солдатские военные стихи.
История предельно справедлива.
Мы были поколением счастливых,
на наше — не на чье-нибудь — плечо
державно-тяжко оперлась Россия.
А мы не гнулись.
Скидок не просили.
Собой
ее от гибели закрыли.*

*Ну, кто еще
сравнится с нами в силе, .
какое поколение еще?*

А все началось с того, что «маршевый батальон шел сквозь город к вокзалу. 32-й запасной лыжный полк — военные лагеря отправляли на фронт пополнение».

Александр БИРЮКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. От Новосила до Ракшино

Так все начиналось	6
Мороз и солнце	7
Ро-бин-зон Кру-зо	9
Мои главные книги	11
Вам связисты нужны?	14
Проваленный экзамен	16
Линейный телефонист	19
Не лирическое отступление	22
Счастливый случай	24
Взвод пешей разведки	28
Первый поиск	30
Витка Гусев	34
Ночные взрывы	37
Пустяковое задание	45
Глубокая разведка	50
Болото	58

Часть вторая. Курсы младших лейтенантов

Пистолеты сдать! Чубы остричь!	74
Подполковник Кудрявцев	77
Ирина Владимировна	80
Царский подарок	85
«Губа»	91
Выпуск	98
Использованный шанс	105

Часть третья. Сорок пятый

Новый год	112
Прорыв	120
Как я стал комбатом	125
Граница	130
Кабан и Коготько	132
Мой ординарец	137
Старшина Костылев	139
Баллада о лошадях	141
Младший лейтенант Володя	144
Поединок	149
Два дня	153
Река	173
Несостоявшаяся дуэль	176
На подступах к Браунсбергу	183
Долгий путь к дому	187
Никто не хотел умирать	195
Генерал	200
Десант	205
Победа!	209
Ортельсбург	213
Соболь живет на Олимпе	219
Здравствуй, Москва!	224
А. Бирюков. О моем старшем товарище. <i>Послесловие</i>	230

Борис Михайлович Борин

НА ВОЕННЫХ ДОРОГАХ

Редактор Л. Н. Ягунова

Художественный редактор Б. Д. Зевин

Технический редактор Н. С. Стаменова

Корректор В. И. Огрызко

ИБ 00632

Сдано в набор 26.04.85. Подписано к печати 25.07.85. АХ—00394. Формат 70×100/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 9,72. Усл. кр.-отт. 10,04. Уч.-изд. л. 9,49. Тираж 15 000 экз. Заказ 659. Цена 60 к.

Магаданское книжное издательство, 685000, Магадан, пр. Ленина, 2.
Магаданская областная типография Управления издательств,
полиграфии и книжной торговли Магаданского облисполкома,
685000, Магадан, пл. Горького, 9.

Борин Б.
Б82 На военных дорогах: Невыдуманные рассказы /Послесл. А. Бирюкова; Худож. Х. Х. Карданов. — Магадан: Кн. изд-во, 1985. — 239 с., ил., портр.

60 к. 15 000 экз.

Автобиографические рассказы поэта, объединенные одним героем, повествуют о героизме советских солдат во время Великой Отечественной войны, о становлении молодого бойца на фронтовых дорогах от Орловщины до Германии.

Б 4702010200 — 026
М — 149(03) — 85 15 — 85

84Р7

60 коп.

